

ЗВЕЗДЫ МИРОВОГО ДЕТЕКТИВА

ЖАН-КРИСТОФ ГРАНЖЕ

ОБЕЩАНИЯ БОГОВ

Новый роман
от автора мирового бестселлера
«Багровые реки»!

ИЗДАТЕЛЬСТВО «АЗБУКА»

Жан-Кристоф Гранже
Обещания богов

Для Мегуми

Jean-Christophe Grangé

LES PROMISES

Copyright © Éditions Albin Michel – Paris, 2021

Published by arrangement with SAS Lester Literary Agency &
Associates

Перевод с французского Риммы Генкиной



© Р. К. Генкина, перевод, 2022

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская
Группа „Азбука-Аттикус“», 2022 Издательство АЗБУКА®

I. Сновидицы

1

– Все происходит в деревне. Она появляется однажды зимним утром.

– Вам знакомы те места?

– Нет. Я всегда жила в Берлине и терпеть не могу выезжать из города.

– Опишите мне эту девочку.

– На ней форма Союза немецких девушек: черный галстук, длинная юбка, нашивка с орлом рейха. Я вижу, как она приближается в тумане. Она говорит мне: «Я от Гитлера».

– Вот так прямо?

– Да. Будто Гитлер – какой-то из ее родственников или близких, ну, не знаю. Полный абсурд. И так на протяжении всего сна, в каждой детали всегда что-то странное, необъяснимое.

– Но ведь в снах всегда так, верно?

Симон Краус послал понимающую улыбку, обычно располагающую к доверию. Женщина не улыбнулась в ответ. Красивая, элегантная, дорого одетая. *Как и все прочие.*

– Продолжайте, прошу вас.

– Она подходит ближе, и я вижу ее лицо. У нее очень бледная кожа в оспинках. Волосы светлые. С таким... неприятным желтым оттенком. Мне не хочется на них смотреть.

– Неприятным: что вы имеете в виду?

– У них цвет... мочи. Я так и подумала во сне: «У этой девочки волосы цвета мочи». Меня от них чуть не стошнило.

Симон никогда не вел записей. А вот скрытый под столешницей микрофон записывал каждый сеанс. Зато Симон любил тайком набрасывать карандашом портреты своих пациенток.

Эта была новенькой. Настоящий вызов для рисовальщика-любителя, каким он и был. Высокие брови (фальшивые, настоящие

выщипаны) напоминали два домика, маленький ротик бантиком, задорный носик, длинные тонкие руки... *Не будем отвлекаться.*

– Пока она говорит со мной, я замечаю множество деталей. Во-первых, у нее в руке лопата. А еще рядом с ней тачка. Наверно, она ее прикатила...

Он по-прежнему чиркал карандашом, повернув блокнот так, чтобы нельзя было разглядеть, чем он там занят. Он привык к таким рассказам. В его кабинет приходили поделиться, рассказать о своих проблемах и неврозах, а главное – описать сны.

Симон Краус был психиатром, и, без сомнения, одним из лучших в своем поколении, но предпочитал представляться психоаналитиком – даже само слово теперь таило опасность, но выслушивать этих дам, расписывающих свои тревоги, было гораздо прибыльнее.

– Вы меня слушаете, доктор?

Она уставилась на него своими серыми глазами, которые, несмотря на живость, казались поблекшими, расплывчатыми, как галька на дне реки. Наверняка усталость. В августе 1939 года в Берлине вряд ли кто спал безмятежным сном.

– Я вас слушаю, фрау... – он бросил взгляд на карточку, – ... Фельдман.

Несколько секунд она разглядывала обстановку. Симон все придумал сам, именно с целью расслабить пациенток (он принимал только женщин). Кремовые стены, глубокое коричневое кожаное кресло «Elephant», а вместо дивана – кушетка-меридиен с изголовьем; на полу плотный шерстяной ковер с узорами в стиле Кандинского, вызывающими ощущение, будто ступаешь по облакам; застекленный книжный шкаф с аккуратно расставленной справочной литературой, а главное – предмет его особой гордости, письменный стол с ящиками в стиле ар-деко, под прикрытием которого он привык украдкой стаскивать башмаки.

– Я замечаю в тачке кучу пепла. В свете занимающейся зари эта масса образует бледное пятно, напоминающее лицо девочки... Несмотря на туман, все вокруг выглядит высохшим: пепел,

подернутая изморозью земля, кожа девчушки... Даже ее голос – будто скрежет проржавевшего механизма...

Симон почти закончил портрет. *Неплохо*. Он поднял глаза:

– Вернемся к лопате. Что делает девочка с этим... инструментом?

– Она протягивает лопату мне и велит копать.

В этой сцене Симон не видел ничего, кроме банального страха, овладевшего всеми берлинцами. С приходом нацизма, конечно же, и даже еще раньше, при Веймарской республике...

Особый интерес психиатра вызывало подспудное воздействие, оказываемое диктатурой на человеческое сознание. НСДАП, нацистская партия, не довольствовалась контролем над думающими мозгами, она еще и проникала в мир снов как неприкрытый ужас.

– И что вы делаете?

– Копаю. Как ни странно, я не сразу осознаю, что речь идет о моей собственной могиле.

– А дальше?

– Когда яма становится достаточно глубокой, я понимаю, что будет дальше. Эта девчушка выстрелит мне в затылок и высыплет содержимое своей тачки на мой труп. И там вовсе не пепел, а негашеная известь. Именно в этот момент девочка смеется, вынимая из кобуры пистолет, и говорит: «Преимущество окиси кальция в том, что она не действует на металлы. У вас ведь есть украшения, да? И золотые зубы?» Я хочу убежать, но ноги одеревенели, как черенок ее лопаты.

Симон отвлекся от своего блокнота. Сейчас ему нужно быть рядом с новой пациенткой, вытащить ее из ямы – в буквальном смысле.

– Вы ведь не хуже меня понимаете, что это всего лишь сон, фрау Фельдман.

Она словно не услышала. Почти задыхаясь, она произнесла:

– Сейчас девочка выстрелит и убьет меня, а я тут, в яме. Я... продолжаю копать, будто хочу показать ей, что я еще не закончила, что нужно дать мне еще несколько секунд жизни, чтобы я доделала свою работу... Это ужасно... Я...

Она умолкла, вытащив из сумочки носовой платок. Вытерла глаза, шмыгнула носом. Симон дал ей перевести дух.

– Неожиданно, – продолжила она, – я отбрасываю лопату и пытаюсь выкарабкаться из ямы. И тут мое тело раскалывается.

– Что вы хотите сказать?

– Мой позвоночник ломается пополам. Я отчетливо слышу хруст и оказываюсь лицом в земле с полным ощущением, что две части моего тела движутся независимо друг от друга, как у разрубленного земляного червя. Я поднимаю глаза и вижу, как она наводит на меня свой люгер (я узнаю пистолет, у моего мужа такой же). Она прищуривает один глаз, чтобы лучше прицелиться, а другой, открытый глаз тоже желтый. – У женщины сквозь рыдания прорывается смешок. – Цвета мочи!

В апогее сна любая деталь может оказаться решающей – *значимой*.

– О чем вы думаете в тот момент?

– О моих золотых зубах.

Сдержав крик, она глухо рыдает. Симон отмечает, что на ней костюм, на который он и сам обратил внимание в «Kaufhaus des Westerns»^[1]. Все это добрый знак. На следующем сеансе он расспросит ее о муже – о его карьере, взглядах, точной цифре доходов...

– Вы еврейка, фрау Фельдман?

Она выпрямилась, словно ее пронзило током:

– Но... никоим образом!

– Коммунистка?

– Совершенно нет! Мой муж руководит «Рейхсверке Герман Геринг»!^[2]

Он вскинул брови в знак удивления, приправленного долей восхищения. На самом деле ему уже об этом сообщили – приятель, рекомендовавший фрау Фельдман, выразился вполне однозначно: в руках ее мужа сосредоточена большая часть немецкой стали.

Симон послал ей самую благожелательную улыбку:

– Что ж, успокойтесь, фрау Фельдман, ваш сон всего лишь отражение смутного беспокойства, связанного, скажем так, с теперешним положением вещей.

– Но что это означает?

Это означает, что все мы скоро сдохнем с люгером у виска, едва не ляпнул он, но натянул на лицо специальное выражение «intra-migos»^[3]: все, сказанное в этом кабинете, никогда не покинет этих стен.

– Фрау Фельдман, ваше сознание подвергается серьезному давлению. Ночью оно высвобождает свои тревоги через эти странные видения.

– Мне кажется, я плохая немка.

– Как раз наоборот. Ваши сны отражают стремление жить счастливо в Берлине, несмотря ни на что. Повторю, вы таким образом выплескиваете свои страхи. Ночной сон – это физический отдых. А сновидения – отдых души, ее передышка, если угодно. Не беспокойтесь.

Говоря это, он подумал: «Уж ты-то свое получишь». Теперь он сосредоточился на ее выщипанных бровях. Он ненавидел подобное кокетство. В этой полоске, оставшейся на лысой надбровной дуге, было что-то и непристойное, и фальшивое. Симон ценил естественную красоту. В этом смысле он был истинным немцем и не так уж далеко ушел от нацистов, которые любили только спортивных, пышущих здоровьем девиц с косами.

– Простите... что вы сказали? – спохватился он, выпрямляясь в кресле.

– Я спросила, закончен ли сеанс?

Он бросил быстрый взгляд на часы:

– Безусловно.

Он быстро обулся, получил свои марки и проводил женщину до двери. Сказав несколько ободряющих слов – они увидятся на следующей неделе, – он расстался на лестничной площадке с супругой сталелитейной махины «Герман Геринг». В голове, словно

пуля, пронеслась картинка: клещи, вырывающие золотые зубы фрау Фельдман.

Он провел рукой по лицу и вернулся в кабинет. Порывшись в кармане, нащупал маленький ключ, который всегда носил при себе, на жилетной цепочке, как карманные часы.

С осторожностью (и, как всегда, с наслаждением) открыл дверь комнатухи, примыкающей к кабинету. Дверь его тайного королевства.

2

Обитая деревянными панелями, узкая и без единого окна, каморка была не больше пяти квадратных метров. Освещенная только висящей матовой лампой, она походила на огромную коробку для сигар – или кабину лифта.

На маленьком круглом столике возвышался граммофон-регистратор, который Симон включал перед каждым сеансом. Вокруг по стенам шли полки, на которых он держал полученные записи. Сотни испещренных бороздками пластинок, хранящих все тайны его клиентуры. Годы прослушивания, профессиональных советов, шантажа...

Он взял только что записанный ацетатный диск^[4], сунул его в бумажный конверт, который надписал, проставив имя пациентки, день и час сеанса. Потом поставил диск на выбранное для него место и отступил на шаг, чтобы полюбоваться своими сокровищами: три стены, плотно заставленные зарегистрированными снами.

Сновидения были страстью Симона. Свою диссертацию он посвятил биологической природе сна, потом ушел в психоанализ. Он прочел все посвященные этому вопросу книги, какие только смог найти, – нацисты еще не начали их жечь. Позже, в тридцать четвертом году, он поехал в Париж, чтобы встретиться с лучшими специалистами в области онейрологии^[5].

Симона завораживала сложность снов, проявляющаяся в них мощь воображения и способность реконструирования, все, что эти запутанные лабиринты рассказывают о вас самих и о мире. У него была своя теория: ночью мозг, освобожденный от цензуры и страхов, мог увидеть реальность такой, какой она была на самом деле, и обретал необычайную прозорливость. В некотором смысле в снах было нечто магическое: они всегда являли худшее, преодолевая наши хрупкие защитные барьеры.

Кто знает? Возможно, Ильзе Фельдман закончит в могиле, которую сама себе выроет, с пулей в затылке...

В первые годы нацизма Краус отважился опубликовать несколько научных статей на эту тему – в то время он даже числился в Институте Геринга^[6], пристанище для психиатров, которые не были ни евреями, ни фрейдистами. Потом он ушел в тень, стараясь вести себя как можно незаметнее ввиду надвигающейся коричневой волны. Отныне он оказывал помощь нервическим дамам, которые в сновидениях выдавали свои стойкие антигитлеровские, а значит, антипатриотические чувства.

Ирония ситуации: рейх всегда стремился узнать, что у вас в голове, контролировать вашу психику, но именно Краус в своем кабинете рядом с *Staatsbibliothek*^[7] собирал секреты жен – а часто, пусть и косвенно, их мужей. *Ха-ха-ха! Еще одно, чего Гитлеру не заполучить!*

С годами он отточил свою теорию. Для Фрейда сны несли в себе исключительно сексуальное послание. Краус был не согласен. Как говорил Отто Гросс, гениальный психиатр, ставший бродягой и позволивший себе умереть от голода в 1920 году: «Фрейд видит повсюду секс просто потому, что недостаточно трахается!»

Сны были *политическими*. Они раскрывали наше отношение к другим людям, к власти, к притеснению. Во всяком случае, его собственные только вокруг этого и вертелись, а если точнее – унижения в прошлом (и видит Бог, их было немало!) претворялись в абсурдные, символические, нездоровые сюжеты. Каждую ночь Симон испытывал муки мученические, заново проживая полученные когда-то травмы, но такова была цена его душевного равновесия.

Нарыв следовало вскрыть. Изрыгнуть во сне те обиды, которые душили его до сих пор.

В глубине души Симон был всего лишь злопамятным мстительным подростком. Что с того, что он стал блестящим специалистом, с увлечением и даже преданностью относящимся и к пациентам, и к своим исследованиям сновидений; все равно он оставался

существом циничным и желчным, мечтающим свести счеты с окружающими.

Доказательство? Хотя он был вполне обеспечен благодаря гонорарам практикующего врача и беззаботно пользовался дарами нацистской системы, расположившись в прекрасной квартире, ранее принадлежавшей еврейской семье, он шантажировал своих пациентов.

Кстати, задумавшись об этом, он заодно вспомнил о свидании с Гретой Филиц. Опаздывать в таких случаях нельзя.

Пунктуальность – вежливость шантажистов.

3

Симон был красив. Даже очень.

Но он был маленького роста. Ужасно маленького.

Задрав подбородок и привстав на цыпочки, он упрямо утверждал, что в нем метр семьдесят, но не желал знать, на сколько смухлевал. Он забыл все последние разы, когда действительно становился под планку ростомера. Он нарочно *стер* цифры из памяти.

Ущербный рост придал ему иную силу – силу воли. В школе, когда его товарищи тянулись вверх как на дрожжах, а он оставался коротышкой, Симон почувствовал, что его сила растет по-другому, словно внутри прибывает некая энергия, готовая выплеснуться.

Случались эпические баталии, вызванные насмешками над его физической недоразвитостью. Особенно в тот раз, когда в школьном туалете под открытым небом он получил королевскую взбучку, но и сейчас помнил это чувство освобождения, ветер, гуляющий по цементным коридорам, хруст собственного носа, расплющенного о деревянную дверь... Он был счастлив драться, счастлив оценить дорогу, которую предстоит пройти, чтобы самоутвердиться...

У Симона было маленькое тело, но много ума. Очень скоро нападать на него стало опасно. Ему больше не били морду, потому что боялись его интеллекта. Да, ему досталось несколько ударов, зато его обидчики обзавелись прозвищами, которые никогда от них не отклеятся. Синяки проходят, оскорбительные ярлыки впечатываются навсегда.

Его случай отягощало еще одно обстоятельство: он был беден. А значит, опять-таки недомерок. Но в этом был дополнительный стимул разжечь в себе честолюбие. Он часто думал об одном актере, который смешил весь мир, хотя родился в нищете, – о Чарли Чаплине. Симон изображал его перед зеркалом (как и у того, у него была танцующая походка) и говорил себе, поигрывая тростью, что однажды тоже взлетит на самый верх.

Все годы учебы он оставался первым учеником, причем особо не напрягаясь, не прикладывая усилий и вкалывая не больше, чем другие. Таким образом на протяжении многих лет он ходил в гениях. И все равно в нем накрепко засело убеждение, что главную роль в его жизни играл этот чертов рост. «Стань тем, кто ты есть», – писал Ницше. Наверняка он был выше Симона, потому что когда постоянно подкладываешь подпяточники в башмаки и получаешь по носу плечом на каждой остановке трамвая, приходится скорее быть тем, кем ты стал... невзирая на рост.

Симон Краус покинул Германию на два с лишним года, отправившись в тридцать четвертом учиться во Францию, а потом вернулся в Берлин. На его глазах в феврале тридцать третьего горел Рейхстаг, месяц спустя власть перешла к Гитлеру, затем последовали костры из книг, Ночь длинных ножей^[8] в тридцать четвертом и Хрустальная ночь^[9] в ноябре тридцать восьмого... Единственным событием, которое он пропустил, были Олимпийские игры. Так вот, этот поток дерьма он пережил с полнейшим безразличием. Даже сегодня, когда на следующем листке календаря значилась война, ему было в высшей степени плевать. Он твердо намеревался пережить потоп.

Одно воспоминание исчерпывающе описывает личность Симона. Однажды днем в апреле тридцать третьего он работал в библиотеке, когда в коридорах раздался сильный шум. Хлопанье дверей, грохот сапог, приглушенные крики: «Они выбрасывают вон евреев!» А у него в голове пронеслась единственная мысль: «Хорошо хоть на коротышек пока не наезжают...»

Вот во что превращает человека такого рода ущербность – в монстра. Маленького, конечно, но все же монстра.

Ладно. Симон решил проинспектировать свой гардероб. Должен же он пристойно выглядеть в глазах Греты Филиц. *Так-так-так...* Он быстро глянул налево, оценивая коллекцию пальто: коричневое из альпаки с воротником-стойкой, черное двубортное из крученой шерсти, габардиновый макинтош... Не по сезону. Потом перешел к

костюмам: все с отстроченными лацканами, шерстяные, фланелевые, льняные... Разумеется, только костюмы-тройки с жилетами в обтяжку и брюками с высокой посадкой – но не слишком высокой, иначе он смахивал на ребенка в штанишках на помочах.

Их крой был намного замысловатее обычного: он сохранил купленные во Франции костюмы и отдавал их копировать талантливым портным – все как один были евреи, так что найти такого в последнее время становилось все сложнее.

В конце концов он выбрал твидовый пиджак и оксфордскую рубашку с воротником на пуговичках. Классические брюки, ботинки «дерби» на шнуровке, и готово дело. Унизительная деталь: в ботинках имелась небольшая хитрость, они были на платформе. Симон, который давно понял, что лучший способ контролировать шуточки в свой адрес – самому их подкидывать, придумал одну, когда был интерном в больнице «Шарите»: «Какая разница между Йозефом Геббельсом и Симоном Краусом? У Геббельса одна нога коротковата, а у Симона обе».

Он еще раз оглядел себя в зеркало шкафа и подумал, что тона пиджака – мох, кора, вереск шотландских пустошей – напоминают цвета нацистской формы. Вот и хорошо, тем незаметнее он будет на общем фоне.

Бросил взгляд на часы и понял, что явится раньше времени. Направился по коридору на кухню, чтобы приготовить себе чашечку кофе.

Квартира была больше шестидесяти квадратных метров – и рабочая зона, и личное пространство. На самом деле, поскольку под кабинет и приемную он отвел две комнаты, собственно жилое пространство ограничивалось кухней, ванной и просторной спальней. Вполне достаточно.

К выбору обстановки Симон относился не менее внимательно, чем к одежде. В приемной он умудрился разместить палисандровый стол на гнутых ножках, два коричневых кожаных кресла и квадратный потолочный светильник матового стекла. В спальне главным

предметом была ширма, подписанная Жаном Люрса^[10], ни больше ни меньше...

Как он смог позволить себе подобную роскошь? Очень просто: одна из его пациенток, Лени Лоренц, была женой банкира, который специализировался на «арийской зачистке» Берлина. Забавное выбрали словосочетание, чтобы обозначить откровенную экспроприацию, то есть конфискацию имущества евреев, часть которого Ганс Лоренц рекомендовал «правильным немцам» купить по бросовой цене.

Именно так Симон стал владельцем этой квартиры, за которую даже не платил. Потом Лени сопроводила его на склады, куда нацисты свозили трофеи своих налетов, и Лени помогла ему выбрать мебель, чтобы обустроить гнездышко. Они даже исхитрились заняться любовью за ширмой Люрса, которая приглянулась Симону. Сладкое воспоминание.

Психиатра могла бы смутить собственная продажность (Лени устроила ему квартирку, как какой-нибудь буржуа своей содержанке), но ему было начхать. Даже приятно. В душе он был жиголо.

Всю свою учебу он оплатил, подрабатывая наемным партнером по танцам – *и не только по танцам, смотря как пойдет.*

Перед тем как выйти из дома, он не удержался и еще раз оглядел себя в зеркало в прихожей. Он и правда красив. Высокий лоб, зачесанная назад каштановая шевелюра. Немного прилизанный, на чей-то вкус, но прилизанный с некоторой небрежностью, на манер прирученного дикаря. Иногда непокорная прядь падала на лоб подобно проблеску гениальности, осенившему носителя.

Вскинутые брови вносили беспокойную черточку. Добавьте к этому темно-синий взгляд, подчеркнутый поэтическими тенями под глазами, еще несколько взмахов кисти, выписывающей прямой нос и чувственные губы, – и перед вами чертовски соблазнительный красавчик.

Симон с большим тщанием выбрал головной убор. Его гардероб был истинной сокровищницей, а коллекция шляп – шедевром. У него имелся набор фетровых трильби с узкими полями, приподнятыми в задней части. Немецкие хомбурги с их знаменитым «заломом» наверху. Он питал к ним особенную слабость, потому что их полужесткая тулья делала его немного выше. Но сегодня он выбрал модель «федора» из кроличьего фетра, которую иногда ошибочно именовали «борсалино».

Последний быстрый жест, смахивающий ворсинки с плеча, и *andiamo!*^[11]

4

Симон Краус не был коренным бранденбуржцем: родом он был из-под Мюнхена. Однако сам он всегда считал себя берлинцем. Каждый день, выходя из кабинета и снова оказываясь в «своем» Берлине, он всеми нервными окончаниями проникался очарованием этого города и его столь своеобразной атмосферы.

Он некоторое время жил в Париже, бывал в Лондоне, и Берлин в плане архитектурной красоты или гармонии пространств не выдерживал сравнения. Но было в нем нечто другое... Этот тяжелый, плоский, темный город таил в себе особую энергию. Говорили, что он был построен на почве, источающей щелочные испарения – особые токсичные эманации, способные обострять человеческие страсти. В свете последних двадцати лет в эти слухи охотно верилось.

После Большой войны^[12] Берлин прошел через все излишества и крайности, какие только можно представить; что касается политики – государственные перевороты, революции, покушения; с человеческой точки зрения – нищета, растущие как грибы состояния, разгул. На сегодняшний день нацистский порядок немного поубавил прыти, но город по-прежнему бурлил.

Пройдя по Альте-Потсдамерштрассе, Симон оказался на Потсдамской площади. Все то же потрясение. Огромное, открытое небу пространство, изрезанное рельсами строящейся подземки и бесчисленными электрическими проводами, снующие туда-сюда машины и лошади... Окружающие площадь здания походили на скалы, нависшие над озером металла. В центре подобие черного обелиска гордо выставляло напоказ башенные часы и первый в городе светофор. Купол стоящего в глубине здания «Фатерлянда» напоминал дешевую подделку под итальянскую базилику – там располагались залы для театрализованных зрелищ, кинотеатр и

рестораны, где к взрослым относились как к детям: между столами ездили электрические поезда и пролетали миниатюрные самолеты.

В этот солнечный день Симон трепетал, глядя на толпу – скопище черных костюмов и легких маленьких платьев (они доставляли ему особое удовольствие), а еще старых добрых полицейских в кепи с лакированными козырьками. Он блаженно окунулся в окружающий грохот: перестук башмаков, завывание со скрежетом пробирающихся между грудами кирпичей трамваев, рев машин...

Как обычно, он дал себе несколько секунд полюбоваться на Колумбус-Хаус, колоссальное девятиэтажное строение из стекла и стали, лишь недавно возведенное и резко выделяющееся на фоне старых зданий. Бог знает, по какой причине, но он мечтал разместить свой кабинет именно там. Симон считал себя человеком, который идет в ногу со временем, и хотел бы принимать пациентов в этой стеклянной футуристической громадине, причем его не смущала перспектива, что каких-то еврейских коммерсантов выкинут вон, позволив ему тем самым перебраться в желанное место почти задаром.

Перейдя на другую сторону площади, он погрузился в более спокойную атмосферу и с наслаждением вдохнул мягкий воздух. Сейчас, в конце лета, достаточно было сделать несколько шагов по широким тротуарам в тени столетних деревьев, чтобы убедиться: существует нечто куда более могущественное, нежели нацистский гнет или угроза новой войны. Ласка теплого ветра, тихий шелест листьев, благостные проблески солнца... и легкие тени, вальсирующие на асфальте.

Он прошел мимо попрошаек с крестами боевых наград (еще оставались такие, осколки последнего военного конфликта) и толстого мужика в баварском национальном костюме – кожаных штанах и шляпе с пером. Симон улыбнулся. Такого рода фигуры лишней раз доказывали ему, что Фрейд был прав. Немецкая культура была культурой регрессивной, некой скаутской грезой, в которой все мечтали скакать по горам в коротких штанишках.

Он двинулся по красивой (следовало любить прямоугольную планировку) широкой Вильгельмштрассе и почувствовал, как сгущается атмосфера. Если в суете Потсдамской площади еще можно было представить себя в обычном городе, то в квартале Вильгельм^[13], с его министерствами, официальными зданиями и многочисленными правительственными учреждениями, сразу вспоминалось, что нынешняя власть шутить не любит.

Расположенный между Принц-Альбрехтштрассе и Анхальтерштрассе, этот квартал представлял собой территорию чистого ужаса, вобрав в себя все самые грозные силы рейха. Повсюду на флагах и колоннах виднелись руны СС^[14], орлы и эти треклятые свастики, которые так и лезли в глаза.

Настроение у него испортилось. Здесь особо не размечтаешься. Суровая реальность быстро вернет на землю. Война была всего лишь вопросом дней. Германо-советский пакт сбил последние запоры, мешавшие вторжению в Польшу. Газеты – все купленные или проданные, как вам больше нравится, – могли сколько угодно распинаться, уверяя, что Гитлер стремится любой ценой избежать войны; никого им было не обмануть. Он расправился с Австрией, потом с Судетами, с чего ему останавливаться на таком верном пути?

Симон двинулся через квартал, вздернув плечи и сжав ягоды. У дома 8 по Принц-Альбрехтштрассе он даже перешел на другой тротуар: это был адрес гестапо.

Наконец на Вильгельмплац он перевел дух. Здесь уже все было по-другому. Ничего общего ни с сумятицей Потсдамской площади, ни с гнетущей атмосферой квартала Вильгельм: много зелени, неба и свободных пространств, обрамленных большими зданиями, которые дышали спокойствием.

Станция «Кайзерхоф» со своими двумя фонарями, коваными решетками и забавной колоннадой, окружающей вход в метро, напоминала мавзолей.

В ста метрах от станции, по адресу Вильгельмплац, 3/5 раскинулся отель с тем же названием, и можете мне поверить, со своими

четырьмя массивными этажами, бесчисленными окнами, изукрашенными балконами и итальянской крышей-террасой это здание достойно несло высокое звание дворца.

Именно там Симон назначил встречу Грете Филиц.

5

Холл гостиницы по роскоши ничем не уступал внешнему фасаду. Его высокие вертикальные окна, истинные вестовые света, щедро открывали дорогу потоку солнечных лучей. В центре, между столиками и эстрадой, возвышались, подобно Геркулесовым столбам, два огромных зеленых растения. Здесь вы вступали в мир приглушенный, богатый, изысканный.

И беспокойный.

Под хрустальным водопадом люстр кипела работа. Разодетые портье, ярко-красные посыльные, лакеи во фраках носились во все стороны под льющуюся меж столиками и креслами тихую музыку и ритмичный перестук чашечек, звон бокалов и гул разговоров.

Симон не торопясь оглядел наличествующий контингент.

Представители старой прусской гвардии при монокле и с гордо вздернутым подбородком. Бизнесмены в черном, нервные, улыбчивые, наэлектризованные (с недавних пор бизнес в Германии набирал силу). И конечно же, нацисты в форме цвета поноса с ремнями, которые постоянно скрипели, словно затягивающаяся вокруг вашей шеи гаррота.

К счастью, имелись еще и женщины.

Они были настолько же гибкими, насколько их мужья заостенелыми, настолько же улыбчивыми, насколько те застывшими, настолько же легкими, насколько те тяжеловесными. Женщины буквально были жизнью, а их мужья – смертью.

Симон прошел через холл и поднялся на веранду, где находился бар. Устраиваясь за столиком, он подумал, что попал в перегретый виварий с несколькими достаточно зеленоватыми нацистскими офицерами, чтобы они сошли за крокодилов.

Через застекленные проемы можно было наблюдать за прохожими на имперской площади, и, если повезет, он увидит, как

идет Грета Филиц, и полюбуется на ее ноги, просвечивающие сквозь напитанное светом летнее платье.

Такие моменты составляли смысл его жизни. Самые насыщенные, самые мощные мгновения его существования. Желание было лучшим наркотиком. Он заказал мартини, достал свой портсигар (суперплоский, с золотыми и серебряными полосками, фирмы «Картье»: подарок близкой подруги) и прикурил сигарету «Муратти».

Медленно выдыхая дым, он снова оглядел окружающие его форменные мундиры. Господи, ну у кого может возникнуть желание так одеваться? Особенно в эту жару... У нацистов начисто отсутствует чувство реальности. Со своими нашивками, медалями и золоченой мишурой они выглядели так же несолидно, как посыльные и портье в холле.

Симон поднял глаза и проследил, как тает завиток дыма в солнечном свете. Он по-прежнему пребывал в недоумении. Если бы те, кто толкал их в пропасть, были по крайней мере выдающимися и харизматичными личностями... А тут художник-неудачник, наркоман, хромой, куровод... хорошенькая подобралась компания. И это еще самая верхушка. Как кто-то сказал (он уже не помнил, кто именно) еще до того, как коричневая чума разлилась по всей Германии, словно опрокинули чернильницу: «Пьянство является одним из фундаментальных элементов нацистской идеологии». В определенном смысле этот захват власти вызывал невольное восхищение. Ну как такое сборище клоунов умудрилось добиться успеха?

Грета опаздывала. Второй мартини. Жар алкоголя вкупе с жаром, проникающим сквозь стеклянную крышу, начал затуманивать голову. Чем Симон лучше других? Конечно, ничем. Он сумел отыскать себе местечко в этом обществе террора, изображая ловкача и фанфарона, хотя прекрасно знал, что его защищают лишь жены этих скотов. Ох, какое уязвимое положение...

Сколько времени он еще продержится?

Недолго. Сама его деятельность навевала подозрения. По нынешним временам в Берлине быть психиатром уже не говорило в вашу пользу, а уж психоаналитиком... Во время аутодафе 1933 года все сочинения Фрейда полетели в огонь. Нацисты ненавидели саму идею, что можно откинуть покровы человеческого сознания, как раздвигают бархатный занавес, и выудить оттуда все спрятанные секреты.

Да ладно, сказал себе Симон, прикуривая новую «Муратти», *хватит черных мыслей*. Во всяком случае, не этим солнечным днем, потягивая мартини в ожидании одной из самых красивых женщин Берлина, которая принесет ему в сумочке конверт, набитый деньгами.

Он залпом допил свой бокал и заказал следующий. Господи, три мартини на полдник... многовато получается.

– *Guten Tag*^[15], маленький мужчина!

Перед ним стояла Грета Филиц. Задумавшись, он не заметил ее сквозь стекло. *Досадно*. Как ему и представлялось, на ней было цельнокройное платье с пояском на талии из ткани, которую он определил с первого взгляда: люстав, вискоза. Платье было... лазурным. Цвет, который ей подходил, как солнце подходит морю.

Гитлер, который повсюду совал свой нос и считал высокую моду одним из бесчисленных еврейских заговоров, призывал немок носить косы и жуткие традиционные платья. Но он мог сколько угодно нападать на Чехию, Францию или Россию, женщин ему было не победить. Никогда уроженка Берлина не согласится носить *Dirndl*^[16].

– Садись, прошу тебя, – проговорил он, вставая и отодвигая стул напротив.

Грета повиновалась с шелковистым шелестом. Она была в буквальном смысле обворожительна. В этот момент он подумал, что и сам «обворожен».

Игра слов, мания психоаналитиков.

6

Едва присев, она открыла отделанную жемчужинами сумочку, достала конверт и кинула его на стол.

- Ты просто маленький поганец.
- Прекрати повторять свое «маленький».

Она закинула ногу на ногу. Симон ясно расслышал, как шуршат под синим платьем ее чулки, и ощутил настоящий взрыв внизу живота.

Пальчик за пальчиком Грета стянула свои белые перчатки, уступчиво согласившись:

- Ладно, получи повышение: ты большой поганец!
- Так лучше. Что будешь пить?

Он мягко взял ее за руку. Открыто ласкать супругу саксонского аристократа в отеле «Кайзерхоф», оставив валяться на столе конверт с двумя тысячами марок, полученных в результате шантажа той же супруги, – это была уже не наглость, а самоубийство.

- Мартини, – ответила она, не отнимая руки. – Ты не станешь пересчитывать?
- Я тебе доверяю.
- Мне следовало бы рассказать обо всем мужу.

Симон ограничился улыбкой. Изначально Грета пришла к нему на сеанс из-за признаков (весьма легких) депрессии. Подавленность, бессонница, приступы тревоги... Как обычно, он попросил ее рассказать свои сны.

Она тут же все выложила, описав свои повторяющиеся кошмары.

Опять-таки антинацистские. В своей дневной жизни Грета доблестно играла роль супруги со свастикой, но в подпольном мире снов ее страхи высвобождались и порождали невыносимые сцены, где нацисты были еще более жестоки (если такое возможно), чем в реальности.

Все это не давало ни малейших оснований для шантажа молодой женщины. Вот только Грета так расслабилась, что рассказала, что ее муж, прусский граф, близкий к партии, от всей души презирает Адольфа Гитлера и, говоря о нем, всегда использует прозвище, которым наградил того Гинденбург: Цыганский Капрал^[17].

Симон пригрозил ей, что отправится в гестапо с записями под мышкой. Грета оказалась перед дилеммой. Или она признается мужу, что обращалась к психоаналитику, или заплатит, позаимствовав деньги из секретных фондов мужа.

Вот уже шесть месяцев, как она выбрала второе.

– Спасибо, – сдержанно сказал он.

И с самым естественным видом убрал конверт в карман. Ирония ситуации: получить деньги за шантаж нацистской супруги в тот самый момент, когда его окружают эти отвратительные мундиры.

– Я тебе уже объяснял, что такова часть терапии, – продолжил он самым мягким голосом. – Это вознаграждение – ключ к твоему выздоровлению. Зигмунд Фрейд сказал...

– *Schnauze!*^[18] Ты просто грязный шантажист.

– Думай что хочешь, – с притворно оскорбленным видом отозвался он. – Я это делаю для твоего же блага.

– Деньги даже не мои, а мужа.

– Еще лучше!

– Ты несешь чепуху.

Он снова наклонился к ней и взял за руку.

– Грета, я ведь лечу тебя от кошмаров, верно?

– Да, – с надутым видом признала она.

– А откуда берутся твои кошмары?

Она подняла голову и испуганно огляделась.

– Замолчи.

Он наклонился еще ниже и прошептал:

– Они берутся из НСДАП, моя милая.

– Говорю же, замолчи!

– А откуда берутся деньги твоего мужа?

Она зарыдала, прижав к лицу ладони. Сквозь пальцы потекли слезы. Совершенно та же реакция, что у фрау Фельдман. К счастью, в гуле, стоявшем на террасе, никто не обратил на них внимания.

– Так что в определенном смысле, – шелковым голосом продолжил Симон, – это Гитлер мне платит. Он всего лишь возмещает ущерб, который нанес твоему мозгу.

Она вытерла глаза.

– Вечная твоя дерьмовая логика.

– Не строй из себя ребенка, – бросил он, доставая новую «Муратти». – Эти деньги послужат науке. Все лучше, чем дать им сгореть в войне, которая станет самым большим фиаско века. И унесет миллионы жизней!

Грета отодвинулась вместе со стулом. На лице теперь читалась не грусть, а скорее живейшее любопытство.

– Я не могу понять, каким чудом ты еще жив.

– Благодаря моему росту. Проскальзываю между дождевыми каплями и в результате выхожу сухим из воды.

– Капли скоро превратятся в снаряды.

– Наберемся терпения. Еще мартини?

Она закивала – как кукушка в швейцарских часах. Грета обожала изображать из себя ребенка, да, в сущности, она недалеко ушла от детства...

Он подозвал официанта и сделал новый заказ. Мысли в голове начали странным образом расплываться.

– Как дела у мужа? – вдруг спросил он, словно упорно хотел вывести ее из себя.

– Он в страшном волнении, – бросила она. – Эта история с Польшей здорово его возбудила.

Симон сделал еще глоток мартини и ощутил на языке горький кофейный привкус. И тут же к горлу поднялась волна желчи.

– Наконец-то у него встанет.

– Я бы тебя попросила, – оскорбилась она. – Дай мне сигарету.

Симон протянул ей портсигар, и Грета нервным движением вытянула «Муратти».

– Почему ты больше не приходишь на консультации? – спросил он, давая ей прикурить (зажигалка тоже была отделана золотом – еще один подарок, но от другой подруги).

– Твои сеансы мне слишком дорого стоят.

По крайней мере, Грете нельзя было отказать в чувстве юмора. Она опять скрестила ноги, и снова послышался чулочный шорох. На этот раз у Симона чуть не треснул лобок. Алкоголь обострил его восприятие.

Молодая женщина не старалась выглядеть чувственной. Сексуальный магнетизм исходил от нее как бы помимо воли... Секрет заключался в пропорциях ее тела и роста: в ней было нечто тяжеловесное, вызывающее необоримое влечение, такое же естественное, как земное притяжение.

Симон разом позабыл и про нацизм, и про две тысячи марок, и про то, где они находятся и в какое время... В нескольких сантиметрах от ее ляжек он думал только о том, как бы в них погрузиться, ощутить их, погладить. Господи, одна только мысль о том месте, где они сходятся, о младенческой коже, которую он когда-то распробовал, сводила его с ума.

– Вернись в кабинет, – не допускающим возражения тоном потребовал он.

– Чтобы переспать с тобой?

– Не важно, тебе это пойдет на пользу.

Он чувствовал, что поплыл, – выпитые мартини затуманили сознание, и он начал проглатывать согласные звуки.

– Кто ты на самом деле?

– Врач, который старается всеми способами помочь пациенту. – Говоря это, он заметил, что не шутит.

– Врач и шантажист.

– Скажем, у меня две профессии. Или же работа и хобби.

– Интересно, что именно ты принимаешь за хобби?..

Он не ответил. Невольно он бросил взгляд в сторону рейхсканцелярии на другой стороне площади. В это мгновение диктатура показалась ему почти благотворной. Нечто вроде постоянного давления, наподобие того, какое испытываешь, ныряя в глубину моря; оно делает каждую секунду более ценной, более насыщенной... В голове у него все смешалось. Черт бы побрал эти картины...

– Ты меня слушаешь или нет?

– Прости?

– Ты еще не понял, что все твои циничные манеры, игры в соблазнителя и опереточного хулигана – они больше не ко времени? – Она протянула руку и ласково потрепала его по затылку, как котенка. – Очнись, Симон, пока все твои козыри не превратились в свою противоположность. В концлагере ты окажешься всего лишь человеком ростом аккурат до приклада. И получишь им прямо в морду.

Симон вздрогнул. Грета была права: со всем этим умничаньем тонкий лед под его ногами скоро треснет. Интеллект вышел из моды. А что до пресловутой защиты... Рассчитывать на женщин, которых он шантажировал и с которыми спал, – в смысле неприкосновенности можно бы придумать и что-нибудь получше. Рано или поздно рогоносцы обнаружат, где собака зарыта.

– А не отправиться ли нам в гостиницу «Зара», как в старые добрые времена?

Грета улыбнулась:

– Мне жаль, милый. Ты и тут отстал от моды.

Он издал покорное «а-а», больше похожее на отрывку.

– Лучше встретимся в «Байернхофе»^[19], – неожиданно игриво сказала она. – Давненько я не ела их *Kartoffelsalat*^[20].

На ее лицо вернулась улыбка, и он снова ею залюбовался. В высшем берлинском обществе ее кукольная головка производила эффект разрушительного урагана, а в это мгновение ее щечки

напоминали две маленькие жаровни – подобные тем, которые она разжигала в штанах любого мужчины.

– Согласен на «Байернхоф», – капитулировал он. – В пятницу, в половине первого?

– Отлично, в полпервого.

Она поднялась с новым небесным шелестом.

– И ты дашь мне хоть слово вставить, – предупредила она. – Чуть меньше обычной белиберды, от тебя не убудет. *Auf wiedersehen*^[21].

Симон без особого сожаления смотрел, как она уходит. Сказал себе, что он, в конце концов, интеллеktуал. И ему приятнее ласкать не ее бедра, а «образ» ее бедер.

7

На обратном пути он слегка протрезвел. Но настроение осталось приподнятым. Он чувствовал в кармане конверт Греты, и его маленькая махинация казалась ему беспроегрешной. Он зарабатывал на жизнь, заставляя этих женщин разговориться, а потом получал еще больше денег, обещая им молчать. *Reden ist Silber, schweigen ist Gold*. Слово – серебро, а молчание – золото.

Чтобы окончательно выветрить хмель, он остановился у лотка уличного торговца и купил две *Wiener Würtschen*^[22]. Берлинские острые радости цвета плоти... Держа сосиски в одной руке, он легким шагом двинулся по Вильгельмштрассе. Таким же легким, как в детстве, когда он придумал себе игру: не наступать на швы между тротуарными плитами. *Наступишь на черту – и умрешь на месте...*

Он снова пересек Потсдамскую площадь, на ходу бросив сальную бумажку в урну. На этот раз ревущая площадь показалась ему невыносимой. Переполненная трамваями, двухэтажными автобусами, двуколками, она выплескивала еще и волну шляп и канотье, колыхавшихся, как прилив мельтешащих пятнышек, – пуантилизм^[23], навязанный стаккато. *Ток-ток-ток...*

Его радостный настрой постепенно оборачивался мигренью. Солнце заваливалось куда-то за дома, звуки чиркали по мозгу, как лезвия коньков по льду катка...

Уже шагая по Альте-Потсдамерштрассе, он вдруг ощутил, как на него нахлынуло дурное предчувствие. Грета права: с этим хождением по канату пора заканчивать. Реальность скоро сметет его со всего маху, как летящий на полном ходу *Kriegslokomotive*^[24].

Когда в поле зрения появился его дом, он чуть не подавился смехом. Ведь мог бы сделать неплохую карьеру как медиум... Перед зданием его ждало то, чего любой немец боялся больше всего на свете.

У подъезда стоял великолепный «мерседес». Прислонившись к автомобилю, шофер в форме СС курил сигарету. В нескольких шагах от него возвышался гигант в черной форме и блестящей фуражке, словно вросший каблуками в асфальт.

Ха-ха-ха! Вот вам и малыш Симон, бегающий между дождевыми каплями! *А ну пошевеливайся! В концлагерь, как все прочие!*

Он отвлекся от машины и шофера, сосредоточив все внимание на гиганте в нарукавной повязке со свастикой. Образ был столь совершенен, что мог бы послужить иллюстрацией в пропагандистских изданиях. Китель, перепоясанный идущими через грудь ремнями. Галифе. Мягкие сапоги, начищенные до зеркального блеска. Спортивная медаль штурмовиков на груди. И конечно же, орлы повсюду – на фуражке, воротнике, пряжке ремня...

– Доктор Симон Краус?

– Это я, – откликнулся Симон, не в силах отвести взгляд от двух рунических знаков, обозначающих СС, на воротнике.

– Гауптштурмфюрер Франц Бивен, – бросил гигант, щелкнув каблуками.

Чувствовалось, что приветствие отрабатывалось перед зеркалом. Симон приготовился услышать: «Следуйте за мной», но мужчина добавил почти примирительно:

– Мы можем поговорить в вашем кабинете?

Офицер протянул ему овальную бляху из черного металла с символом орла, сидящего на свастике. Внизу номер. *Гестapo, неужели?* Учитывая облик предъявителя, жетон был явно лишним.

– Разумеется, – ответил Симон, исполнив в свою очередь короткий поклон скорее в манере Чарли Чаплина, нежели Гитлера.

Зайдя в свой подъезд, он невольно испытал чувство нелепой гордости. Дом из тесаного камня, решетка кованого металла... Что ни говори, это придает солидность.

Они молча поднимались по лестнице. В очередной раз Симон тщеславно оглядывал окружающую роскошь, изысканную отделку

лестничных пролетов. *Дурень несчастный, ты наверняка видишь все это в последний раз.*

Добравшись до четвертого этажа, он отпер дверь, бросив взгляд на гостя. И спросил себя, так ли тот высок, как ему кажется. Рядом с Симоном легко выглядеть титаном.

Они задержались на несколько секунд в небольшой прихожей с бежевыми стенами и гармонирующим светлым паркетом из габонской древесины. Единственным украшением была серия эскизов Пауля Клее^[25].

Гауптштурмфюрер некоторое время рассматривал их с неодобрительным видом. Симон воспользовался этим, чтобы рассмотреть его самого. Тот был не только высок, но и исполнен совершенства. Истинно арийская физиономия, прямиком из коробки с набором конструктора «Мессапо»^[26]. Чеканные черты, твердая челюсть, светлые глаза, презрительный рот... С такой мордой он мог отправить вас в концлагерь простым движением подбородка.

И все же был у Зигфрида^[27] один изъян. По всей видимости, он страдал птозом – недоразвитостью мускула, поднимающего верхнее веко, а потому правый глаз у него был полуприкрыт. Когда он смотрел на вас, возникало ощущение, что он держит вас на прицеле своего люгера.

– Сюда, пожалуйста.

Они вошли в кабинет. Отвращение, проступившее на лице гестаповца при виде обстановки в стиле ар-деко, красноречиво говорило о его, скажем так, культурных предпочтениях. Еще один, кто наверняка сжег немало книг 10 мая 1933 года перед зданием Оперы в Берлине.

– Чем могу быть вам полезен, гауптштурмфюрер? – спросил Симон, располагаясь за письменным столом.

Он не положил ноги на столешницу, но вел себя достаточно развязно. Оправившись от первого испуга, окруженный своими книгами и привычными предметами, Симон снова почувствовал себя сильным и неуязвимым. Не говоря уже о мартини, который по-

прежнему бурлил в его венах и продолжал внушать, что он обладает сверхспособностями.

Не отвечая, человек в черном сделал несколько шагов, разглядывая каждую деталь. Гестапо никуда не спешило.

Когда он подошел к потайной двери, ведущей в комнатушку, где хранились записи, Симон кашлянул, отвлекая его внимание.

– Садитесь, – настойчиво повторил он, – прошу вас.

Кожа кресла болезненно заскрипела под весом гиганта.

– Вам знакома Маргарет Поль?

Симон Краус почувствовал, как внутри что-то отпустило. Маргарет была одной из первых его пациенток, она страдала хронической депрессией и до сих пор время от времени его посещала. Миниатюрная блондинка с плоским задом и маленькими упрямыми грудками; с ней он тоже спал, но было это года два назад.

– Вы наверняка очень занятой человек, гауптштурмфюрер, – заметил он, воспрянув духом. – Да и меня поджимает время. Давайте сразу отбросим вопросы, ответы на которые вы уже знаете.

Симон увидел в глазах офицера – скажем, в полутора глазах – два чувства. Во-первых, глубочайшее изумление тем, что кто-то смеет отвечать подобным образом офицеру СС. Во-вторых, понимание. Его наверняка предупредили: Симон Краус личный психиатр супруг высокопоставленных лиц. А значит, неприкосновенен.

Мысль, что женщины могут служить защитой, должна была казаться отвратительной такому человеку, как Франц Бивен.

– Отвечайте на мой вопрос.

– Да, она была моей пациенткой.

– С каких пор?

– Если мне не изменяет память, где-то с мая-июня тридцать седьмого года.

– Она ходит к вам... регулярно?

– Теперь уже нет. Она в фазе ремиссии. Сигарету?

Франц Бивен отказался, коротко мотнув головой. Он с интересом наблюдал за Симоном. Беспечность и непринужденность психиатра не могли не произвести на него впечатление, особенно по нынешним временам.

В самой глубине его зеленых, как стоячая вода, глаз таилось даже некоторое удовлетворение. Симон, неплохо разбиравшийся в женщинах, но и в мужчинах тоже, чувствовал за карнавальный мундиром и дурацкими побрякушками настоящего бойца. Бивену нравилось, когда ему противостоят.

Симон также догадывался, что перед ним отнюдь не рядовой сотрудник, а кто-то повыше. Один из элиты *Geheime Staatspolizei*^[28]. Но почему к нему прислали этот танк? Что такого важного случилось?

Гестаповец, словно прочтя эти мысли, разом ввел Симона в курс дела:

– Маргарет Польш убила.

8

Симон Краус чуть не свалился с кресла. В Берлине могли убить любого: это называлось «политика». Но никогда женщина вроде Маргарет Поль не попала бы на линию огня: стопроцентная арийка, стопроцентно преданная Тысячелетнему рейху, жена группенфюрера СС, старого соратника Геринга.

Внезапно перед глазами Симона предстала эта блондинка всего чуть-чуть выше его самого, в одном шелковом нижнем белье, с залиvistым хохотом танцующая на кровати на манер Аниты Бербер^[29]. К глазам подступили слезы. Злые, едкие слезы, словно ему впрыснули под веки соляной раствор.

– Убита? – глупо повторил он. – Но... когда?

– Я не могу разглашать никакие подробности.

Отказавшись от позы «особой непринужденности», Симон облокотился на стол:

– А вы знаете... Ну, известно, кто это сделал?

Впервые на лице Франца Бивена мелькнула улыбка – гримаса, больше похожая на перекатывание шариков в подшипнике, чем на проявление какого-либо человеческого чувства. Он снял фуражку. Светлые волосы, подстриженные так коротко, что напоминали шкуру бычка, вызывали желание их погладить.

– Расследование только началось.

Симон окончательно протрезвел. Он с великим трудом пытался собраться с мыслями.

– Но... как она была убита?

– Повторяю, я ничего не могу сказать.

У него мелькнула мысль о преступлении по страсти. Маргарет не отличалась ни верностью, ни целомудрием, но ее муж, вечно пропадаящий на каких-то учениях генерал, плевал на нее как на прошлогодний снег. Вот уж кто не годился на роль ревнивого рогоносца.

Новый любовник?

Бивен, перекинув ногу на ногу, теперь обводил насмешливым взглядом кабинет Симона, изысканную обстановку. Казалось, он наслаждался тем, что огорошил этого человечка в его ботинках «дерби» с перфорированными мысами. Вотчина Симона – трепотня психиатра, дегенеративное искусство, бесполезные книги. А его, Бивена, вотчина – смерть, жестокость, власть. Конкретный мир. Сегодняшний мир.

– Маргарет Поль приходила к вам регулярно?

– Я вам уже сказал. В последнее время наши сеансы стали реже. Я видел ее пару недель назад.

– В чем заключалось лечение?

Симон мог сослаться на врачебную тайну, но это означало риск оказаться в подвалах дома 8 по Принц-Альбрехтштрассе. Уж лучше избежать такого переезда.

– В словах, – уклончиво ответил он. – Она описывала мне свои тревоги, а я давал ей советы.

– И что это были за тревоги?

Симон достал очередную «Муратти». Прикурил, чтобы выиграть несколько секунд на размышление.

– Она страдала приступами беспокойства, – обронил он, нервно постукивая по краю пепельницы.

– Какого рода беспокойство?

В конце концов, там, где она сейчас, бояться ей нечего...

– Нацистский режим внушал ей страх.

– Странная мысль.

– Вы тоже так полагаете? Я в лепешку разбивался, повторяя ей это.

Замечание вырвалось само собой. Крупное тело, затянутое в черную ткань, внезапно напряглось, словно под мундиром застопорился какой-то механизм.

– Упомянула ли она отношения с мужем?

– Конечно.

– И что она об этом рассказывала?

Перед глазами Симона вновь вспыхнула картинка. В соседней комнате Маргарет слушает граммофонную пластинку со своей любимой песней «Heute Nacht oder nie»^[30], кружась босая по паркету.

– Его поведение мучило ее. У него не хватало времени на жену. Всегда на армейских учениях...

– Выражайтесь точнее. Что у нее была за болезнь?

– Ее чувство покинутости выражалось в потере аппетита, лихорадочной дрожи, потере сознания, приступах страха...

Гестаповец погрузил свой странный взгляд в глаза Симона. Как ни удивительно, асимметрия век придавала ему особое, почти романтическое своеобразие. Нечто завуалированное, подспудное, наводящее на мысль об одноглазом пирате.

– Говорила ли она с вами о каком-нибудь любовнике?

Симон вздрогнул: *возможно, ловушка*. Он представления не имел, насколько продвинулось расследование. И даже не знал, когда именно была убита Маргарет.

– Ни разу, – ответил он.

И добавил безапелляционным тоном:

– Это было не в ее духе.

Нацистский офицер коротко кивнул в ответ. Невозможно было догадаться, что он при этом думал. Этот парень мог потерять мать сегодня утром, и взгляд его оставался бы таким же непроницаемым над челюстью-наковальней.

– Знаете ли вы, как она проводила свои дни?

– Нет. Спросите лучше у мужа.

Бивен наклонился вперед и оперся о стол, вызвав скрип и кожи, и дерева. Никогда еще лакированная столешница не казалась Симону такой маленькой.

– Но она же должна была рассказывать вам о своих повседневных делах?

Симон раздавил сигарету и встал открыть окно. Выветрить запах табака. А еще лучше – вместе с царившим в комнате напряжением.

– Мне не хотелось бы чернить ушедшего человека, – произнес он якобы в затруднении, – но Маргарет вела праздную и пустую жизнь супруги состоятельного человека.

– То есть?

Симон вернулся к столу и сел:

– Парикмахер, походы по магазинам, косметические процедуры... Она также часто встречалась с подругами и пила с ними чай.

– Мне говорили о клубе...

– Верно, она была членом «Вильгельм-клуба». Нечто вроде литературного салона или, скорее, светского. Его члены собирались каждый день после полудня в отеле «Адлон».

Бивен снова откинулся в кресле.

– Во время ваших последних встреч фрау Поль не показалась вам нервной или испуганной?

– Я уже сказал вам, что это и было предметом наших сеансов.

– Не стройте из себя дурака. Не показалось ли вам, что она боится какой-то конкретной опасности? Получала ли она угрозы?

– Насколько мне известно, нет, но...

Этот односторонний допрос начал действовать Симону на нервы. Обычно вопросы задавал он.

– Не могли бы вы уточнить обстоятельства ее кончины? Если бы я знал, что именно случилось, то смог бы полнее вам ответить...

– В мои обязанности не входит снабжать вас какой бы то ни было информацией.

Гауптштурмфюрер обхватил сцепленными пальцами колени. У него были широкие костлявые ладони со множеством старых порезов. Руки крестьянина, но еще и штурмовика, который бил морды и стекла, ломал руки и все, до чего могли дотянуться его кулаки, прежде чем получил это злое повышение – поступил в гестапо.

Симон также заметил, что мужчина говорит без акцента. Яблоко от яблони недалеко падает. Да, он родом из деревни, но где-то в окрестностях Берлина. А сам Симон потратил годы, чтобы избавиться от своего дурацкого баварского говора.

– Если я правильно понял, – снова заговорил посетитель, – жертва регулярно посещала вас на протяжении почти двух лет. Она рассказывала вам о личных проблемах, о своих тревогах, сомнениях и уж не знаю о чем еще. Если кто-то в Берлине и знает всю ее подноготную, то именно вы.

– Повторяю еще раз: Маргарет страдала от неспособности к жизни в нашем обществе... это постоянно ее угнетало. Я никогда не слышал от нее об угрозах или о каком-то человеке, которого она считала бы опасным.

– Подумайте хорошенько.

Симон выудил новую «Муратти» и прикурил ее, задрав нос, что должно было обозначать усиленное копание в памяти. По другую сторону тонкой перегородки находились полки с дисками, где были записаны все их сеансы с Маргарет начиная с мая 1937 года.

– Мне правда очень жаль. Ничего не приходит в голову.

Большая часть «проблем» фрау Поль едва дотягивала до статуса неврозов, а перепады душевного состояния не выходили за рамки экзистенциальных мучений заброшенной жены. Ее единственным врагом была скука – и оружием в борьбе с ней служили непрерывные покупки, крепкие коктейли, поглощаемые с четырех часов дня, а еще любовники, в том числе и он сам, которым удавалось более-менее ее развлечь.

Симон вернулся к первой мысли – вернее, ко второй. Раз уж она развлекалась напропалую, отправляясь в берлинские трущобы и якшаясь со всяким сбродом, то, возможно, в конце концов нарвалась на неприятности.

– А она никогда не говорила с вами о мраморном человеке?

– Простите?

– О мраморном человеке.

– Что вы имеете в виду? Статую?

Франц Бивен устало выдохнул. Впервые он позволил себе человеческую реакцию. Его лицо сразу переменилось, став менее жестким, более... живым.

– Это единственная имеющаяся у нас наводка. Несколько раз она говорила с мужем о мраморном человеке. Кажется, она его опасалась...

– И больше она ничего не сказала?

Бивен не ответил: похоже, он оценивал своего собеседника. Даже его пиратский взгляд стал не таким непроницаемым.

– Нет, она никогда не вдавалась в подробности, – добавил он. – Только повторяла, что боится. Очень боится. Но чего именно, неизвестно...

Симон не стал настаивать. Он надеялся, что цербер наконец исчезнет. Ему хотелось остаться одному. Протанцевать последний вальс со своими воспоминаниями. Потягивать старый коньяк, воскрешая образ Маргарет под звуки песен Миши Сполянского^[31].

Будто подсоединившись непосредственно к мозгу Симона, Бивен неожиданно встал. Психиатр не очень верил в свои телепатические способности, по крайней мере не до такой степени. Скорее, это один из примеров синхроничности, о которой так любил рассуждать Карл Густав Юнг.

Вроде бы слегка смягчившийся гауптштурмфюрер взял перьевую ручку Симона и написал на визитке свое имя и номер телефона.

– Подумайте, герр Краус. Перечитайте свои записи и свяжитесь со мной.

Психиатру оставалось только кивнуть. Веки жгло, и не только от дыма «Муратти».

– Не беспокойтесь. Я знаю дорогу.

Симон смотрел, как внушительная фигура переступает порог, сотрясая кабинет. Здесь никогда еще не было подобных типов. Обычно мелькали тонкая шерсть, меховые боа и шелковые чулки.

Симон подождал, пока хлопнет дверь, потом встал и закрыл окно. Гигант садился в свой «мерседес» – точнее будет сказать, втискивался. Симон проводил глазами отъезжающую машину и позволил себе улыбнуться. В очередной раз он оказался на шаг впереди. С козырем в рукаве.

Мраморный человек, слышали про такого? Еще бы ему не слышать. Маргарет часто о нем говорила. Но Франц Бивен мог хоть весь Берлин перевернуть в своих поисках – Мраморного человека он никогда не найдет. Единственное место, где обреталось это каменное создание, был разум Маргарет. Мраморный человек являлся ей только в снах... Он был кем-то вроде Голема, населяющего ее сновидения.

В распоряжении Крауса имелся еще один элемент, возможно представляющий особую важность. Маргарет Польш была не единственной, страдающей этим синдромом. Многие другие пациентки переживали тот же кошмар. Симон расценивал этот факт как периодически возникающий символ нацистской власти или даже Адольфа Гитлера. Но почему скульптура? И мраморная? Симон склонялся к некоему образу или выражению, которое эти дамочки запомнили и постоянно использовали в своих снах.

Он сомневался, что этот психический феномен хоть как-то связан с убийством малютки Польш, но все же имело смысл покопаться.

Хоть это он обязан сделать для своей молодой любовницы. Той, которая напевала «Heute Nacht oder nie» своим высоким дрожащим голоском.

Франц Бивен ненавидел таких мелких паскудников. Паразит. Жиголо. Дегенеративный врач.

Красивая морда, конечно, но на кукольном теле – и этот недоносок смел поглядывать на него свысока? Счесть его деревенщиной? Будь его воля, Бивен прибил бы мозгляка прямо там, сразу же, в его буржуйской квартире, набитой непонятными штуками (полное впечатление, что опять угодил на выставку дегенеративного искусства^[32], где он следил за порядком в 1937 году).

Нет, подобным паразитам нет места в Тысячелетнем рейхе. Такого рода извращенцы толкают лишь к распутству и пороку. Гадкий *интеллигентишка*. Это проказа нового общества. Слишком много думают, искажая тем самым смысл жизни: они больше не чувствуют подспудной, природной и основополагающей пульсации самой земли...

Коротышка не все ему сказал, – например, совершенно очевидно, что он уже слышал о Мраморном человеке. Ничего, за этим дело не станет, Бивен еще вернется. И повторит вопросы, возьмет в оборот этого мозгоправа, выдавит из него все соки, как из подгнивших фруктов. И не забудет обыскать его кабинет сверху донизу, когда того не будет дома.

А если не выйдет по-хорошему, что ж, он получит дубинкой по почкам. Хоть Бивен и продвинулся по службе, сноровки он не потерял.

– Едем в Брангбо, гауптштурмфюрер?

Он даже не глянул на водителя.

– Да, в Брангбо.

В первый раз сев в собственный «мерседес-бенц 170», он чуть не кончил в штаны. Его успех, возвышение и власть, воплощенные в коже и металле.

Теперь он даже не обращал внимания на машину. Человек ко всему привыкает, даже к тому, что мечты сбылись. Мечты, к которым он рвался, стиснув зубы и кулаки, с яростью в сердце.

Ему оставался всего один шаг до цели. И тут на него свалилось это расследование.

Маленький прилизанный мудака даже не подозревал истинного масштаба бедствия. Потому что Маргарет Польш была не первой. В пятницу, 4 августа на Музейном острове обнаружили тело Сюзанны Бонштенгель, двадцати семи лет. Со вспоротым животом. Искромсанную. Без обуви.

Сначала дело было поручено Кримо (*Kriminalpolizei*^[33]), но в силу отсутствия результатов и появления нового трупа полицейских из уголовки отстранили, а дело передали в гестапо.

И выбор пал на него, Франца Бивена, хотя он не имел никакого опыта в этой области. В гестапо не искали преступников – их целиком и полностью придумывали. Досье расследования фабриковалось спокойно, за письменным столом, а затем арестовывали виновного, который больше всех удивлялся, узнав о своей виновности.

Но на этот раз все было по-другому. По улицам Берлина разгуливал настоящий убийца и нападал на жен представителей высших нацистских кругов, а Бивену было поручено этого убийцу отловить. *Scheiße!*^[34]

Дорога до Брангбо займет не меньше получаса. Он поглубже уместился на сиденье и прокрутил в голове все обстоятельства дела.

Итак, 4 августа на северной оконечности Музейного острова, в Кёльнском квартале, на берегу Шпрее был обнаружен труп молодой женщины. Тело лежало на улице Ам-Купферграбен, на набережной напротив музея Боде, расположенного на западном берегу реки.

Никаких проблем с установлением личности жертвы не возникло: на ней по-прежнему была ее одежда, а сумочка лежала рядом. Сюзанна Бонштенгель, урожденная Шейдт, родилась в 1912 году в Ансбахе, Средняя Франкония, Бавария. Супруга Вернера

Бонштенгеля, очень близкого к руководству СС поставщика запчастей для немецкой армии, то есть для вермахта^[35].

Макс Винер, гауптман из уголовки, первым взявшийся за это дело, действовал по накатанным рельсам: его люди прочесали квартал в поисках свидетелей, перетрясли освободившихся из тюрем (хотя по нынешним временам попасть туда было куда проще, чем оттуда выйти), переворошили весь уголовный мир города...

Параллельно с этим вскрытие показало, что молодая женщина была жестоко изувечена. На ее шее зияла рана. Орудие убийства (нож или кинжал) рассекло яремную вену и наружную сонную артерию, а также сосуды гортани и щитовидки.

Жертва скончалась от этой раны, вызвавшей обильное кровотечение. Но на теле имелись следы и других ударов. Серия порезов на левом боку позволяла предположить, что женщина отбивалась и пыталась защититься в тот самый момент, когда убийца удерживал ее руки над головой – раны шли до подмышек. Внутренняя поверхность пальцев обеих рук была глубоко рассечена. Некоторые фаланги держались буквально на ниточке. Женщина хваталась за лезвие, которое ее кромсало.

С особым ожесточением убийца набросился на живот. Широкий косой разрез шел от диафрагмы слева, спускаясь до подвздошной ямки справа. Две менее глубокие раны шли в том же направлении, доказывая, что убийца принимался за дело несколько раз, пока ему не удалось погрузить оружие по самую рукоять и буквально вскрыть живот жертвы.

Судебно-медицинская экспертиза также засвидетельствовала, что преступник нанес еще более странное увечье: он разрезал область лобка и извлек генитальные органы, причем никаких их следов рядом с трупом обнаружено не было. Убийца украл яичники, матку вместе с шейкой, а также целиком вагину и прилегающие к ней ткани.

В подобных обстоятельствах не представлялось возможным определить, была ли жертва изнасилована, но Винер склонялся к

сценарию без изнасилования. Убийца получал удовольствие, действуя ножом, а не членом. В бытность свою в СА^[36] или в *Unterwelt* – преступном мире – Бивен знал таких парней.

Странная деталь: преступник также унес обувь Сюзанны. Значит, он любил играть с органами и башмаками жертв. Вот уж и впрямь псих.

Винер взялся за расследование засучив рукава. Он очень рассчитывал на новейшую берлинскую лабораторию судмедэкспертизы, на Государственный институт химии, на Департамент судебно-медицинской экспертизы и криминальной статистики, который сокращенно называли *korpus delikti* или просто КТИ^[37]. В программе значились: исследования дактилографических отпечатков, антропометрические фотографии, фотороботы, поведенческий анализ, баллистика, идентификация использованного при убийстве оружия, идентификация волокон и различных проб (с использованием микроскопа), анализ крови и спермы, токсикология, обнаружение невидимых чернил...

Винер остался с носом. Весь набор анализов не дал ничего. Как и поиск возможных очевидцев. Очень скоро гауптман увидел, как сужается поле его действий. Запрет на допрос близких жертвы. Запрет разглашать факт убийства. Запрет обсуждать это дело с собственными коллегами... Не считалось возможным признать, что подобное убийство вообще имело место и рейх оказался задет столь непосредственно.

Винеру удалось восстановить лишь распорядок дня жертвы накануне убийства. Утром Сюзанна играла в теннис, потом отправилась на обед с одной из подруг. Потом в одиночку гуляла по Курфюрстендамм, разглядывала витрины и... исчезла.

Винер по-прежнему топтался на месте, когда в субботу, 19 августа было обнаружено еще одно тело в Кёльнском парке, рядом с медвежьим вольером, недалеко от Музейного острова. Маргарет Поль. Двадцать восемь лет. Урожденная Шмитц, из Вюртемберга. Тот

же образ действий. Перерезано горло. Вспорот живот. Украдены репродуктивные органы и вся область вагины. Нет обуви.

Крипо продвинулась не дальше прежнего – кроме одного пункта: жертвы были знакомы. Обе входили в «Вильгельм-клуб», светский салон, располагавшийся в отеле «Адлон». По собранным сведениям, этот «салон» был всего лишь курятником, где молодые жены промышленников-миллионеров и нацистских сановников собирались поговорить о тряпках и посплетничать. Кстати, этих женщин прозвали Адлонские Дамы.

Винер перелопатил весь огромный отель, опросил персонал, постоянных клиентов ресторана, а также тех постояльцев, кто проживал в означенные даты, причем он ни разу не проговорился про убийства. У него также не было права лезть с вопросами к другим дамам – слишком рискованно. Как и в прошлый раз, ему удалось лишь восстановить последний день Маргарет Поль. Ничего интересного.

Отчеты Винера становились все более расплывчатыми, сводясь к умозрительным рассуждениям о психологическом профиле преступника. Например, он предполагал, что убийца каннибал или же нападает на своих жертв, переодевшись. *Сплошная хрень.*

Коричневый дом^[38] отреагировал.

Следовало передать дело тем, кто ежедневно контролировал улицы Берлина и души жителей: гестапо. 26 августа дело было официально поручено гауптштурмфюреру Францу Бивену, тридцати пяти лет. Он представления не имел, почему выбрали именно его. У него был блестящий послужной список (с нацистской точки зрения), но он ничего не понимал в криминальных расследованиях. Гестапо было политической полицией: оно арестовывало жертв, а не виновных.

Его единственным козырем была осведомительская сеть *Geheime Staatspolizei*^[39]. Начиная с 1933 года Германия представляла собой не страну, а паутину. Она была разбита на *Gaue* (административные округа). Каждый *Gaue* в свою очередь подразделялся на *Kreise*

(круги). Каждый *Kreise* на *Ortsgruppen* (местные группы). Каждая *Ortsgruppen* на *Zellen* (ячейки). Каждая *Zellen* на *Blocks* (блоки).

Краеугольным камнем сети был *Blockleiter* – блокляйтер. Он отвечал за шестьдесят домашних хозяйств и ежедневно шпионил за всем, что происходит. Функционер низшего звена, чьи донесения были самыми ценными.

Как в этой хитросплетенной сети надзора могли произойти два убийства? Как убийца мог проскользнуть сквозь столь частый невод? Не говоря уж о том, что весь Берлин прослушивался, все публикации в прессе ежедневно отфильтровывались, а на каждого работника в доме 8 по Принц-Альбрехтштрассе имелось досье. За последнюю неделю Бивен перерыл всю свою картотеку, вытряс душу из всех осведомителей и стукачей, поставил на ноги всех своих блокляйтеров – и совершенно безрезультатно.

Этот убийца был человеком-невидимкой.

Бивена ждал еще один сюрприз: когда он решил переговорить с Максом Винером, то обнаружил, что гауптман исчез. Уволен? Сослан? Убит? Никакой возможности узнать, но это было недобрым знаком.

Бивен впрягся всерьез. Он заново опросил мужей жертв, промышленника Вернера Бонштенгеля и группенфюрера СС Германа Поля. Ничего особенного это не дало, кроме одной детали: генерал поведал, что его супруга боялась Мраморного человека. Что еще за вздор?

Зарывшись поглубже, Бивен накопал еще одну информацию: Маргарет Поль, которая вечно недомогала, в конце концов призналась мужу, что консультировалась у психиатра. Франц без труда отыскал Симона Крауса и оказался нос к носу с этим мелким засранцем.

Хотя Бивен и сам был преступником, тут он впал в полную растерянность и не мог нащупать ориентиры. Он имел дело с убийцей-психопатом, который нападал на этих женщин и, очевидно, наслаждался тем, что кромсал их. Ничего общего с самим Бивеном:

тот скорее был убийцей прагматичным, профессиональным, без всякого умопомешательства или душевных порывов...

Он поднял глаза и заметил, что они давно уже выехали за город. День клонился к закату, и поля вокруг заливал оранжевый, слегка тошнотворный свет.

– Остановись здесь, – велел Бивен.

Прежде чем прибыть в Брангбо, гауптштурмфюрер всегда совершал один и тот же ритуал.

10

Стоя посреди картофельного поля, Франц Бивен начал раздеваться. Он расстегнул ремень и снял китель. Потом стянул сапоги и избавился от брюк. Тщательно сложил одежду, прежде чем убрать ее в багажник «мерседеса». Освобождаясь от одежды со всеми погонями, нашивками и свастиками, он будто возвращался вспять во времени, снова становясь тем, кем был когда-то.

Движущей силой Франца Бивена всегда было единственное топливо: ненависть. Только благодаря этой внутренней ярости, этому желанию прикончить всех и вся он сумел подняться по служебной лестнице и стать тем, кем являлся сегодня.

Но не будем торопиться. Сначала даты и место. Родился в 1904 году, в маленьком городке под названием Цоссен, в сорока километрах к югу от Берлина. В семье полунищих крестьян. Унылая ферма, почти разоренная прокатившимися над ней политическими катаклизмами, и, однако, в глубине курятника всегда можно было найти кое-что для пропитания.

Первые свои десять лет он был обычным мальцом с фермы, пещерным ребенком из тех, что делают домашние задания под коровье мычание, сидя на перевернутом цинковом ведре среди навоза.

Успеваемость средняя, зато страсть к приключенческим романам. 1914 год. Начало Большой войны. Отца мобилизовали, Францу с матерью пришлось самим заниматься фермой. Сначала его затянуло в беспросветную рутину пахоты и непонимания, когда сам он стоил не больше, чем ломовая скотина, на которую он орал целыми днями.

1917 год. Отец пережил газовую атаку. Поездка в военный госпиталь в Эссенхайм, недалеко от Майнца. Франц возвращается оттуда потрясенный, оглушенный горем, вне себя от ненависти. На ферме ничего не изменилось, кроме его уверенности: придет день, когда он отомстит за отца.

В то время у Франца было единственное развлечение. В десяти километрах от фермы, рядом с Цоссеном, располагался лагерь военнопленных, который прозвали «лагерем полумесяца», потому что там было много арабов, негров и турок. Когда у него находилось немного времени, Франц брал велосипед и отправлялся туда – просто посмотреть, как враг медленно поддыхает. Не единожды он пробирался под колючей проволокой и пытался поджечь палатки пленных. Безуспешно.

1919 год. Возвращение к нормальной жизни, или почти. Отец по-прежнему в госпитале, ферма заложена (чтобы оплатить уход за отцом), в хозяйство наняли батрака. Mutter^[40] теперь хочет, чтобы Франц получил *Abitur*^[41], и отправляет сына в интернат при потсдамском лицее. Новые горизонты.

Прежде всего, спорт.

Работа на ферме выковала тело. До сих пор это было лишь знаком его рабства. Теперь же мускулы становятся символом силы, победы.

Соответственно, Франц меняет и свой внешний вид. Он, чья шевелюра всегда походила на спутанные землистые корни, сейчас решительно становится на сторону дисциплины. Волосы гладко зачесаны назад, затылок выбрит.

Франц тренируется. Он думает о Большой войне. Он думает об отравленном отце. Разрабатывает каждый мускул, каждую клеточку своего тела, чтобы стать боевой машиной. Настоящим орудием мести.

Он слышит разговоры об арийцах, о расе господ. Ему это нравится. Высший народ. Мистическое происхождение. Селянин или нет, он понимает, что принадлежит к *Volk*^[42].

1923 год. Получив, против всяких ожиданий, свой *Abitur*, он возвращается к себе. Дела Германии идут все хуже. Французы, не довольствуясь тем, что унизили и выжали немцев, вернулись оккупировать рейх, конфискуя промышленные центры и воруя уголь.

По всей стране голод и холод. Ферма Бивенов погибает под гнетом долгов. Мать и работник надрываются почем зря. Но опять-

таки у них, по крайней мере, есть еда. И дрова, чтобы согреться.

Вскоре оголодавшие берлинцы собираются в шайки и начинают совершать набеги на деревни. Франц встречает их выстрелами из ружья. Убивает многих. Эти столкновения научили его одному: он рожден для стрельбища. Для битвы. Для войны. Ему девятнадцать лет. Пора переходить к действию.

Он записывается в НСДАП под номером 24336, оставляет ферму и идет в СА, штурмовые отряды. Вспомогательная полиция, которая колотит всех, кто попадет под руку, во имя неких идей, столь примитивных, что вызвали бы хохот на школьном дворе. Не важно. Он слышит зов судьбы. Мундир, дисциплина, приказы – все это тоже ему нравится. К тому же это вгоняет его ярость в рамки.

Он открывает для себя Берлин, круша все на своем пути. Штурмовики накатывают волной, и он во главе. Франц бьет морды не ради удовольствия: он тренируется, готовится к войне. Он знает, он чувствует, что однажды получит шанс сразиться против врага.

Мать уговаривает остаться на ферме, помочь ей, защитить их достояние. Пытаясь его урезонить, она открывает правду о том, как отец отравился газами. Французы тут ни при чем: это ветер в тот день переменял направление и направил на немцев их собственный газ. «Если хочешь отомстить, – кричит она, – мсти ветру!»

Услышав это, Франц плюет на Библию матери, забирает свои вещи и исчезает. Поначалу в Берлине ему приходится туго. Штурмовики – сборище скотов, ни к чему не пригодных, но, как ни парадоксально, годных на что угодно. Не солдаты, не полицейские, не хоть кто-то. Ополчение из алкашей, слуги порядка, которые больше нападают, чем защищают. А он особо не пьет, не смеется над шуточками коллег, не получает никакого удовольствия от мордобоя. Как ни крути, странный парень.

Франц недолго остается в СА. В ноябре их глава Гитлер организует государственный переворот – неудачный, за несколько часов все летит в тартарары. Гитлер арестован, штурмовики распущены, Франц оказывается там, откуда начинал. Он без предупреждения

возвращается на ферму и застаёт мать в объятиях работника. Хватает ружье и пристреливает любовничка, а потом скармливает его свиньям. С *Mutter* они приходят к соглашению: если начнется расследование, она расскажет, что работник вернулся в родные места, и все же Франц не может оставаться на ферме.

Некоторое время он живет в лесу, как зверь. Потом уезжает обратно в Берлин и попадает в *Unterwelt*. Кем он только не был – вышибалой, охранником, вором, даже убийцей; кем угодно, лишь бы за это платили.

1926 год. Францу двадцать два года. По-прежнему крепкий, с теми же прилизанными волосами, вот только его фантазии на тему чистой тевтонской расы приказали долго жить. Среди уголовников он заработал серьезную репутацию. Жестокий, опасный, неуправляемый. Ему не очень доверяют: он не гангстер, но и не нацист. Так кто же он?

Стиснув зубы, он держит себя в руках. Регулярно навещает отца, гниющего в психлечебнице, – его мозги сгорели вместе с легкими. Бывает у матери, которая наняла нового работника.

Год спустя она умирает. Франц притаскивает на похороны отца, который и на церемонии постоянно слышит свист газа и гул французских самолетов. Затем он начинает танцевать у вырытой могилы, потому что немцы выиграли войну. Когда он решает помочиться на гроб, Франц вырубает его и возвращает в психушку.

Ни семьи, ни опоры, денег едва хватает, чтобы пожрать, и ни малейших перспектив. Тут он узнает, что Гитлера выпустили из каталажки, а штурмовики получили право переформироваться. Он возвращается к ним. Начальство отмечает его за ум, боевые качества и преданность делу – Франц отдается СА душой и телом, ему больше ничего не остается. К тому же у него идеальная биография: сам от сохи, отец – герой войны. Его посылают в Вену пройти подготовку по методам партийной пропаганды и организации войск. Он схватывает все на лету.

Весной двадцать восьмого штурмовики снова получают разрешение носить форму. Эта деталь меняет жизнь Франца. Он марширует, ходит в ногу, командует собственным подразделением – образец для всех. На самом деле он ни на секунду не верит, что подобное сорище придурков способно добиться политического влияния. Власть захватывают через избирательные урны, а не дубинкой или винтовками.

Личность Гитлера вызывает у него недоумение. Этот рыгающий псих, рассказывающий невесть что, со своим дергающимся кадыком и ужимками оперной дивы вроде бы не может вызвать ничего, кроме смеха. Но при этом он заводит толпу. Франц может в этом поклясться: он сам обеспечивает порядок на митингах.

Бивену поручают отдельную миссию: перед поджогом Рейхстага он должен вынести оттуда одно кресло – любимое кресло Германа Геринга. Он все исполняет, но до этого фотографирует мебель *in situ*^[43] в языках пламени. На следующий день он лично доставляет кресло по частному адресу Геринга и тайком делает новую фотографию. Он даже помещает в кадр свежий выпуск газеты «Völkischer Beobachter» с заголовком о пожаре. Достаточно положить рядом два снимка, чтобы все понять.

Он, не колеблясь, приходит к Эрнсту Рёму, главе СА, и показывает обе фотографии, предупредив, что если с ним что-либо случится, то снимки будут отосланы в газеты. «Вся пресса в наших руках», – отвечает Рём. «Я говорю об иностранных газетах». Продолжения истории не последовало. Его даже продвигают по службе.

Но его инстинкт уже подсказывает нечто иное: назначенному канцлером Гитлеру штурмовики больше не нужны. Более того, эта армия скотов, которую становится все труднее держать под контролем, ему мешает. И главным образом ее руководитель Рём – тот слишком много болтает и плюс ко всему еще и педик до мозга костей.

Бивен уходит из СА и поступает в распоряжение полиции. Геринг заменяет дубинки полицейских пистолетами. «Лучше убить

невиновного, чем упустить виновного», – предупреждает он. Бивен в полиции как дома.

Годом позже наступает Ночь длинных ножей, с руководством СА покончено. Бивена снова не подвело чутье. Он делает успехи в полиции – бывший убийца из СА, бывший уголовник, он решительно обладает всеми нужными качествами, но предчувствует новый тупик.

Власть принадлежит не полиции. Она принадлежит СС.

Он подает прошение. Безукоризненное личное дело. Вскоре его принимают в *Schutzstaffel*^[44], в гестапо. Он быстро поднимается по служебной лестнице – благодаря своим достоинствам, но не только. Бивен по натуре вожак. Он умело управляет своими людьми, не боится сам поработать «в поле» и не имеет ничего общего с чиновниками, из которых в основном и состоят ряды гестапо. В серьезных случаях на него можно положиться.

Вот почему ему и поручили это странное дело.

Всем было известно, что Бивен хочет попасть в войска СС или же в вермахт. Во всяком случае, пойти на фронт, как только начнется война. Франц солдат и желает сражаться.

Чтобы подогреть энтузиазм подчиненного, его начальник, обергруппенфюрер Отто Пернинкен заявил:

– Разберитесь с этим расследованием, и я поддержу ваш перевод.

Бивен кивнул, щелкнул каблуками и вскинул руку, рывкнув: «Хайль Гитлер!» Но ему было сильно не по себе. Теперь его судьба зависела от психопата-убийцы, который кромсает в парках ни в чем не повинных женщин. Твою ж мать, но Францу-то какое до него дело?

Через несколько дней Германия захватит Польшу, что повлечет за собой начало Второй мировой войны, а он застрял в Берлине и вынужден разыскивать маньяка, который и убил-то всего двоих. Смехотворная цифра. В нацистском Берлине любой убийца, достойный такого именованья, имел на своем счету десятки смертей...

– Герр гауптштурмфюрер...

Бивен встряхнулся, отбрасывая ненужные мысли. День клонился к закату, и все вокруг заливал алый, как море крови, свет. До него дошло, что он уже переоделся.

Франц убрал форму в багажник и снова уселся на заднее сиденье машины. Теперь на нем были серые брюки со стрелками, рубашка с коротким рукавом и полотняная куртка. Это все, что он смог найти в кладовке гестапо, где хранилась одежда расстрелянных или приведенных на допрос.

На сей раз ни на куртке, ни на рубашке не было никаких следов крови или дырок от пуль. Он был вполне готов к встрече с отцом.

11

Всякий раз, приближаясь к психиатрической больнице в Брангбо, он испытывал одно и то же физическое ощущение. Нечто вроде обонятельной галлюцинации: горчичный газ, иприт.

Он чувствовал запах смерти, проникающий сквозь резину противогаза и кожу сапог, просачивающийся под гимнастерки и шинели; газ растекался по траншеям 1914–1918 годов и убивал его отца.

На протяжении всех лет войны отсутствие *Vater*^[45] было как затишье перед бурей. Франц постоянно вкалывал бок о бок с матерью. Он ничего не видел, ничего не слышал, ни с кем не разговаривал. Он ждал отца, вот и все. Даже дурные новости, доходившие до деревни (траншеи, газы, убитые), не проникали в его сознание. В его глазах «папа» был Риенци, Лознгрином, Парсифалем^[46]. Он был непобедим. Он смеялся над пулями и снарядами. Он был выше жестокости окопов.

В двенадцать лет увидев отца в госпитале в Эссенхайме, Франц его не узнал. Глаза обожжены. Отец ничего не видел. Легкие обожжены. Отец не мог дышать. Слизистые оболочки обожжены. Этот незнакомец на кровати был пожарщиком плоти.

Под настойчивые уговоры матери в хаосе криков и стонов госпиталя Франц заставил себя поверить, что лежащая перед ним жалкая человеческая развалина действительно его родитель, его герой. Эта капитуляция определила всю его последующую жизнь. Прижав ко рту носовой платок, он стоял в изножье отцовской кровати и видел странные вещи. Прежде всего, реки крови: попавшим под газовую атаку делали кровопускание, чтобы понизить артериальное давление. Содовый раствор для промывания глаз, рта, ран. Раствор Дакена для мытья полов, испачканных ранеными, от которого несло испарениями хлорки... Мир жертв газовых атак был

жидкостным – никакой твердой пищи, на переваривание которой уходило слишком много кислорода...

Были еще калеки, сожранные блохами и клещами, без рук, без ног, без лица. Эти воняли сильнее. Их повязки сочились, раны воспалялись. Кое-кто из них бродил по палате, заполненной дымом печей. Перепуганный Франц упорно разглядывал пол, лишь бы их не видеть. Он запомнил только человека-мумию с головой, полностью замотанной бинтами: тот перерывал все ящики в поисках своих ушей.

А еще были трусы, которые отрезали себе палец или наглотались пороха, чтобы вызвать желтуху. Этим ничего хорошего не светило. Их лечили, только чтобы расстрелять или отправить обратно на фронт.

И наконец, были безумцы. Те, кто не выдержал ужаса окопной жизни. Они дрожали, жестикулировали, орали. Они все еще оставались на войне. Это называлось «наваждением боев», «shell shock»^[47], а еще иногда контузией. Некоторые выздоравливали через несколько недель, другие же, как его отец, скатывались в слабоумие.

– Мы приехали.

В затерянной глуши, в пустоте безвременья институт Брангбо казался кирпичными руинами в чистом поле. Забытое здание в мрачном деревенском захолустье. Само его окружение отражало суть ситуации: душевнобольных здесь бросили подышать, никто и не думал оказывать им помощь.

Учитывая позицию партии по отношению к душевнобольным, Бивен не питал никаких иллюзий: от психов стремились избавиться. Вырожденцы, слабое звено, лишние рты, слишком дорого обходящиеся государству. Достаточно пройтись по улице и глянуть на плакаты, пестрящие такого рода призывами, или же отправиться поразвлечься в кино и посмотреть перед фильмом пропагандистскую короткометражку, демонстрирующую истерически хохочущих или гримасничающих безумцев... А в субтитрах

подчеркивалось, каких денег стоит прокормить этих монстров. Денег, недополученных добропорядочными немецкими семьями...

Франц перепробовал все, пытаясь найти лучший госпиталь. Ему попадались только вечно спешащие презрительные психиатры, ненавидящие своих пациентов. Тогда он попытался отыскать частную клинику, но зарплата гестаповца была слишком скудной, чтобы оплачивать такое заведение.

Вот и получился Брангбо...

Единственным лучиком света в этой дыре была ее директриса Минна фон Хассель, хорошенькая брюнетка, которая заботилась о пациентах как о собственных детях. Вначале Бивен решил, что она очень религиозна или что-то в этом роде, но оказалось – ничего подобного. В гестапо на нее имелось досье: ее семья была одной из самых богатых в Берлине. Аристократы, своевременно переключившиеся на производство асфальта, строившие для страны автострады. Имевшая от рождения титул баронессы, Минна отвернулась от такого счастья, чтобы стать психиатром и посвятить себя «лишним людям». *Достойно уважения.*

В то же время он не доверял этой женщине, она слишком много думала – и считала себя сильнее режима. А главное, была слишком красива: когда он сталкивался с ней, это узкое лицо и черные, почти восточные глаза буквально выбивали его из колеи. Куда только девались его жесткость и сдержанность, он слабел...

На самом деле он переодевался, перед тем как появиться в Брангбо, вовсе не из-за отца, впадавшего в ужас от вида военной формы, а из-за Минны фон Хассель, открыто ненавидевшей СС.

«Мерседес» въехал в ворота – одна из дыр в кирпичной ограде – и остановился во дворе. Бивен вылез из машины и оглядел в сумерках знакомую картину. То, что называлось «огородом», было лишь заброшенным пустырем, где росли одни сорняки, но не исключено, что какой-нибудь парочке психов удалось там что-нибудь посадить. Что до сумасшедших, их здесь как раз было много, даже очень, прямо вокруг него. Завернувшись в грязные простыни

или развязанные смирительные рубашки, они бродили подобно призракам.

Франц снова почувствовал запах горчичного газа, запах безумия. Или собственного страха при мысли, что сейчас он увидит отца. Этого незнакомца с осунувшимся лицом, кожа да кости, который всякий раз осыпал его руганью и нес ни с чем не сообразную чушь.

Но самым страшным было то, что в отце, как в зеркале, он видел себя: ведь написано же в книгах, что безумие часто бывает наследственным...

12

– Как он сегодня?

– Стабилен.

Он только что задал вопрос санитару, которого хорошо знал, – Альберту, единственному нацисту среди обслуживающего персонала Брангбо.

– Но вчера у него был серьезный приступ...

Бивен пожал плечами: этих серьезных приступов он навидался тысячами после Большой войны, и отца они вроде бы даже как-то поддерживали.

Не добавив ни слова, он пошел вслед за бугаем (Альберт был ростом почти с самого Бивена и весил наверняка сто двадцать с гаком); тот направился в левое крыло, отведенное под отдельные палаты. Бивен так до конца и не разобрался, было ли наличие собственной палаты привилегией или наказанием.

Внутри они прошли по длинному цементному коридору с валявшимся на полу строительным мусором. По правой стене располагались небольшие металлические двери. Не так уж отличается от внутренней тюрьмы гестапо. Он часто говорил себе, что между этими двумя заведениями существует причинно-следственная связь, и в Брангбо он расплачивается за преступления, совершаемые в гестапо...

Альберт шел перед ним в своем грязном халате, позвякивая тяжелой связкой ключей. За железными створками вопили сумасшедшие. Другие, сидя на полу, рыдали в пыли.

Внезапно – непонятно, с какой стати, – у него в голове мелькнула картина. Один из редких случаев, когда они всей семьей «выехали» в Берлин. Чудесный летний день на Унтер-ден-Линден, Липовой аллее. Без пиджака, в штанах, натянутых выше пупка, отец улыбался в лучах солнца. У его ног трепетала тень листвы, словно чуть заметно пульсировало само время. Слепящий свет.

Франц бежал к отцу, заливаясь хохотом, – себя он не видел, но по смеху дал бы лет восемь-девять. Он хорошо это помнил. Такие вылазки были очень редкими. В эти моменты счастье становилось чисто физическим ощущением, вне контроля сознания.

– Вот.

Альберт наконец-то отыскал нужный ключ. Ржавая дверь заскребла по полу. Бивен подумал о кабинете Симона Крауса: как далеко эти мягкие ковры и кожаные кресла.

– А ты кто такой?

Вот уже многие годы как отец перестал его узнавать. И это не было следствием умственной деградации – скорее признаком проигранного сражения, которое сознание вело против разъедающей язвы безумия. Его деменция непрерывно воспроизводила саму себя, размножая больные клетки в мозгу.

– Папа, это я, Франц, твой сын.

– Брешешь.

Петер Бивен сидел на койке, забившись в угол. Полинявшее, не пойми когда сделанное одеяло скомкалось в ногах. На нем была только длинная сероватая рубаха, заскорузлая от экскрементов.

Франц зашел. Альберт закрыл за ним дверь. Палата была площадью не больше десяти метров. Цементные крашеные стены и пол. Койка вмурована в стену. Зарешеченное окошко. Углы обиты стекловатой. Обычная среда обитания отца последние двадцать лет.

Бивен осторожно приблизился. Отец еще был способен врезать ему ногой по яйцам. Сейчас он свернулся на своей подстилке, испуганный и уязвимый, совсем как те придурки, которых Бивен запирали в камерах гестапо.

Как ни странно, несмотря на разрушительное действие газа и годы, проведенные в психбольнице, отец по-прежнему был красив. Удлиненные правильные черты, ясные глаза, навевающие мысль о крошечном прозрачном морском гроте, такого густого синего цвета, будто в них плеснули чистую лазурь. А еще *Vater* сохранил густую белую шевелюру, которая делала его похожим на короля викингов.

Но все портила худоба. Казалось, это красивое лицо при каждой смене выражения выставляет напоказ всю свою механику: морщины, мускулы, кости – все было на виду, будто с него содрали кожу.

– Не подходи ко мне!

Петер Бивен скорчился на койке. Он был так же высок, как Франц, но весил, наверно, вдвое меньше, если не втрое. Он напоминал какую-то сложную конструкцию из костей, обтянутую очень тонким слоем плоти.

– Папа, ну будь же благоразумен.

– Говорю, не подходи. *Mistkerl!*^[48] Это ты меня сюда засадил.

– Папа...

– Заткнись! Вы все против меня сговорились...

Его навязчивые идеи оставались неизменными с некоторыми вариациями: сюда его заточили, чтобы заставить молчать, потому что он знает важнейшие секреты Большой войны, например кто нанес тот пресловутый «Dolchstoß» («удар кинжалом в спину»), из-за которого немцы проиграли войну.

Как ни парадоксально, Франц видел, что сами доказательства слабоумия отца в то же время свидетельствуют о его здоровье. Он нес свой бред с такой энергией, что наверняка был в форме... Другая странность заключалась в том, что этот крест был частью жизни Бивена. И даже ее краеугольным камнем. Любовь гестаповца сумела на ком-то сконцентрироваться, пусть даже на этом полном ненависти отребье.

– В траншеях, – снова заговорил больной, – я видел людей, которые больше не могли выдержать взрывов, свиста снарядов, они затыкали себе уши, сжимая кулаки, вот так...

Он показал, прижав ладони к ушам и вытаращив глаза.

– Но коли приглядеться, видно было, что этих парней разрезало пополам. – Он закатился в хохоте. – Уши-то они берегли, а вот ног у них больше и не было!

Еще один любимый припев *Vater*: зверства в окопах, которые казались совершенно абсурдными. И однако, тут он говорил правду.

– Я видел расплавленные трупы в лужах человеческого жира, обезглавленных детей, а рядом кружились на месте обезумевшие матери, видел товарищей, превратившихся в кровавое месиво...

Франц рассеянно слушал. Что он здесь делает, черт побери? Разве он не должен быть в Берлине и разыскивать убийцу?

Петер вдруг умолк. Под кустистыми бровями его глаза пылали синим огнем, как сварочная горелка, готовая прожечь стекловату.

– Ты мой сын, так?

– Так.

– Как себя чувствует мать?

– Она умерла, папа. Почти пятнадцать лет назад.

– Конечно. Они ее убили, это ж ясно. Но она получила по заслугам.

– Папа...

Старый хрен выпрямился. Это продолговатое королевское лицо, словно увенчанное собольей шапкой, хорошо бы смотрелось на театральной сцене.

– Что? Ведь она-то и засадила меня сюда.

У матери не было никакого выбора. Когда здоровье отца улучшилось в том, что касалось легких, пришлось признать, что с мозгом дело швах. Началась долгая эпопея Бивенов. Крошечная пенсия, едва позволявшая выжить, целыми днями трястись в автобусе, чтобы добраться до психушки...

– Но вам меня не одолеть!

Франц приступил к привычному ритуалу. Опустившись на одно колено, он взял отца за руку.

– Папа, никто не желает тебе зла. Ты здесь, потому что... – каждый раз в этом месте он запинаясь, – так было нужно, понимаешь?

Внезапно отец жестом заставил его замолчать:

– Тихо. Ты слышишь?

– Нет.

– Слушай!

Бивен не шевельнулся.

– Теперь слышишь?

– Что?

– Шум... шум в трубах.

Франца всегда удивляло богатство и разнообразие его бреда. Петер Бивен провел бóльшую часть своей крестьянской жизни, перепахивая землю и засевая ее, но слабоумие пробудило такие зоны его мозга, о существовании которых никто не подозревал. Он воображал невероятные картины, сплетал сложные истории, демонстрируя недюжинный творческий потенциал.

– Они снова его пустили, – прокомментировал он. – Правильно, сейчас ведь ночь.

– О чем ты говоришь?

– Это газ свистит... Они нас потихоньку отравляют. Ночью, когда все спят, они пускают газ... Сейчас тебе покажу. – Он в два шага пересек палату (босые ноги в солдатских сапогах) и ткнул в трубы, вмонтированные в стены. – Гляди... – (Его длинные пальцы походили на мертвые ветки в нескончаемую зиму.) – Видишь, они пускают газ по этим трубам, трубы-то все пористые... И убивают нас, пока мы спим...

Как всегда, его бред отличался строгой логикой: в него почти можно было поверить.

– Папа, не беспокойся. Просто трубы в плохом состоянии, это всего лишь центральное отопление.

– Ну что ты за кретин! – Отец внезапно вскочил – ростом он не уступал сыну. – Да нет, это я кретин! – клоунским тоном воскликнул он. – Ты же один из них. Ты из армии сволочей, которые решили уничтожить победителей, сжечь бесполезных, из тех, кто продал душу дьяволу якобы во имя родины!

– Германия очень переменилась, папа. Она встала с колен, она...

Старик расхохотался: негибамость действительно была его сильной стороной.

– Германия пляшет на наших костях, сынок! И твои сапоги топчут мой рот. Я умру, задушенный газами твоих командиров.

– Папа...

Старик плюнул на пол: беседа была закончена.

Как всегда, Франц вышел из палаты в шоковом состоянии. В горле сухо, глаза щиплет от слез. И как обычно, вернул себе силы, поклявшись отомстить за отца. Пойти на фронт. Убивать французов...

Наконец-то обстоятельства складывались удачно: Германия вот-вот нападет на Польшу. Франция и Англия не смогут остаться в стороне. Начнется Вторая мировая война, и он будет в первых рядах.

Но оставалось еще это расследование и...

– Как он вам сегодня?

Франц обернулся. Перед ним стояла Минна фон Хассель, скрестив руки на груди, в накинутой на плечи замшевой куртке. В изящных пальчиках дымилась тонкая сигарета. Картина идеально вписывалась в обстановку: кирпичные стены, мягко отсвечивающие свернувшейся кровью в лучах алого заката.

В то же мгновение Бивен понял, что приезжает сюда, в Брангбо, только чтобы ее увидеть.

13

Бивен перечитал досье Минны фон Хассель тысячу раз, не меньше. Родители аристократы и коммунисты (и миллионеры), сбежавшие в Штаты. Блистательная студентка. Временная работа в разных психиатрических клиниках Берлина, а затем – отравленный дар: руководство клиникой в Брангбо. Приняв этот пост, баронесса Минна фон Хассель стала первой немкой, возглавившей лечебное заведение, и самым молодым руководителем такого ранга в истории. Не замужем, детей нет, законченная алкоголичка.

– Ну что я могу вам сказать? – бросил он, скрывая волнение. – Вот уже двадцать лет, как я раз в неделю приезжаю повидать его, где бы он ни находился, и никогда не замечал ни малейшего улучшения. Хуже, конечно, иногда становилось, а вот лучше ни разу.

Минна задумчиво затянулась сигаретой. Розовые завитки дыма, казалось, вбирали в себя ее размышления.

– Это проклятие нашей профессии, – заметила она смирившимся и в то же время беспечным тоном. – Мы не вылечиваем наших пациентов. Мы лишь облегчаем их состояние. И то...

– По крайней мере, вы не морочите голову.

В уголке ее губ мелькнула легкая улыбка, похожая на запятую.

– Идемте, сменим обстановку.

Они направились к воротам. По саду бродили пациенты, словно выбравшиеся из собственных могил. Некоторые так и не сняли смиренных рубашек, и длинные рукава волочились по земле; другие, жертвы Большой войны, несли на себе нескрываемые увечья.

Франц никогда не видел столь мрачного места, а уж он навидался кошмарных закоулков. И все же, выйдя за ворота, он почувствовал себя счастливым.

Он исподтишка глянул на Минну, которая курила, как девочка-подросток, зажав сигарету прямыми пальцами. Ее куртка кое-что ему

напомнила – костюмы из вестернов, с бахромой, к которой она питала явную слабость. Эта необычная одежда воскресила в памяти романы Карла Мая, которыми он зачитывался в детстве.

У Минны фон Хассель была специфическая манера одеваться. Так, сегодня на ней были брюки из денима – странной американской ткани – и кукольные башмачки с ремешком в форме буквы Т на подъеме.

Бивен не интересовался женщинами. *Зря время терять.* Но Минна фон Хассель – особый случай. Посреди этих развалин, именуемых «институтом психиатрии», на фоне пустыря, называемого «огородом», она представала единственной надежной личностью, достойной доверия.

Физически она была совершенно не в его вкусе. В своих фантазмах Франц видел фрау из родных краев, пышную блондинку с аппетитной грудью и – раз уж на то пошло – с кружкой пива в руке. Его мысли – и желания – блуждали по проторенным путям, таким же унылым и скучным, как пресловутые автострады Третьего рейха.

А у баронессы фон Хассель была хрупкая фигурка и рост не более метра шестидесяти. А еще короткие, очень темные волосы, и от вида этой компактной головки у него всегда сжималось сердце. Ее лицо действовало на него гипнотически. Вытянутый овал, мучнисто-бледный, с плавными очертаниями, на котором черные глаза казались двумя чернильными кляксами, расплывающимися во все стороны на промокашке, а промокашкой был он сам.

– Для вашего отца мы делаем все, что можем, – продолжила она. – Но в наших силах только облегчить его страдания. Высвободить из тисков, сжимающих его психику.

Он терпеть не мог ее манеру говорить. Речь интеллектуалки, которая словно берет каждую вещь пинцетом, не желая пачкать руки. Его отец сошел с ума, и его безумие – это болезнь. *Тут не о чем книги писать.*

– Сегодня он рассказывал о газе...

– Да, это у него новая навязчивая идея. Мы отравляем пациентов, пуская ночью газ по трубам.

– Что вы об этом думаете?

– Вы хотите сказать, об этом техническом приеме?

Франц не знал, что ответить.

– Простите, я пошутила. И неуместно. Если учесть историю вашего отца, вполне нормально, что одержимость газом постоянно всплывает в той или иной форме.

Они шагали по пыльной тропинке через сухие поля. Франц незаметно насыщал легкие этим рыжеватым воздухом, пропитанным глиной и удобрениями. Поля расстилались насколько хватало глаз, уводя к горизонту, который где-то там, далеко-далеко, опрокидывался в золотое свечение неба. Бивен оглядывал эту красоту с пренебрежением: в нем был жив снобизм крестьян.

Баронесса остановилась, чтобы прикурить новую сигарету от предыдущей, потом подняла глаза к небу. Там кружились перелетные птицы – Бивен был слишком далеко, чтобы различить, какие именно, но склонялся к тому, что это аисты. Их парящий концентрическими кругами полет трудно с чем-то спутать.

– Вы знаете, когда они посыплются нам на головы? – спросила Минна, проследив за его взглядом.

– О чем вы говорите?

– О бомбах.

– Я в самом низу служебной лестницы. И новости узнаю вместе со всеми.

– Но должны же ходить слухи. Никто в точности не знает, какое решение принял фюрер.

Последовало молчание. Золото. Птицы. Восточный профиль...

– Вы знаете психоаналитика по имени Симон Краус?

– Очень хорошо. Мы вместе учились в университете.

– Что вы о нем думаете?

– Он гений.

Ответ подействовал ему на нервы.

- А что еще?
- И настоящая сволочь.
- Он вас обидел?

Минна улыбнулась – в ее улыбке сквозили долгие века аристократического превосходства. Бивену захотелось вlepить ей пощечину.

– Вовсе нет. Но когда человек так одарен, как он, у него нет права растрчивать свой талант, став психоаналитиком всяких дамочек. Однако себя не переделаешь: он жиголо и к тому же прохвост. В свое время он изготавливал амфетамины, которые продавал другим студентам.

Выпустив большой клуб дыма, она мечтательно продолжила:

– Симон Краус... Я, когда прочла его диссертацию, испытала настоящий шок. Никогда не читала столь блестящего и так хорошо написанного текста...

В Бивене нарастало раздражение: ему была невыносима мысль, что этот прилизанный коротышка на самом деле великий ум.

– А его диссертация, – выдавил он, – о чем она?

– О сне и сновидениях. В своем психоаналитическом подходе Краус использует онейрический анализ.

Опять непонятные слова...

– А вы? – повинуясь внезапному порыву, спросил он. – О чем была ваша диссертация?

– Об убийцах-рецидивистах.

– Простите?

– Я работала над связью между экспертами-психиатрами и компульсивными убийцами.

– Вы хотите сказать... убийцами-немцами?

– Ну да. Теми, кто действовал в последние десятилетия. Петер Кюртен. Фриц Хаарман. Карл Денке. Эрнст Вагнер^[49]. И еще несколько других, менее известных. – Она по-девчоночьи хихикнула. – В то время я чуть ли не жила в тюрьмах.

Бивен отложил эту информацию в закрома мозга. Кто знает? Минна фон Хассель может однажды оказаться ему полезна. В любом случае она куда лучше его разбирается в возможных мотивах потрошителя...

– А как давно была написана ваша диссертация?

– Боюсь, больше десяти лет назад.

– Когда вы проводили свои исследования, вам не встречался тип, который коллекционировал бы обувь своих жертв?

– Нет. Даже не слышала о таком. А что?

Бивен не ответил. Хоть он и был в штатском, но чувствовал себя одеревенелым, как столб.

– Это тайна гестапо? – продолжала настаивать она.

Он глянул на нее, попытавшись улыбнуться, но губы, чуть вздрогнув, застыли. В глубине души ей было плевать и на выражение его физиономии, и на него самого, тупую скотину и нацистскую сволочь.

– Хватит задираться, – примирительно сказал он. – Мы здесь на нейтральной полосе.

– Вы правы. Прошу меня простить.

Минна уже привела их по тропинке обратно. Время, которое она могла ему уделить, закончилось.

Когда он снова увидел кирпичные развалины психбольницы, его покинуло всякое вдохновение, необходимое для поддержания разговора, – оно и так-то дышало на ладан. Говорун – это точно не про него. Не всем же быть как Симон Краус.

Они расстались в молчании у пыльного портика ворот под рокот уже заведенного мотора «мерседеса». Наступила ночь.

Глядя, как она идет через огород в наброшенной на плечи куртке вроде тех, которые наверняка носил Дэви Крокетт^[50], он вдруг спросил себя, а даст ли она ему шанс. Ну конечно, ему с его прошлым в СА, полуприкрытым правым глазом и группой крови, вытатуированной под мышкой, как раз по силам покорить одну из самых богатых наследниц Берлина.

Прежде чем войти в главное здание психбольницы, Минна бросила взгляд на часы. Почти восемь. Пациенты уже поужинали и готовятся отойти ко сну. У нее был выбор: заняться бумагами, которые ей безостановочно присылали нацисты, или предаться грезам в огороде, попивая коньяк. Она сунула руку в карман куртки, достала фляжку и сделала первый глоток. Она всегда умела принимать быстрые решения.

Повернув обратно, она устроилась в своем любимом садовом кресле – деревянной тачке, брошенной здесь много лет назад. Именно тут она предпочитала пить и курить, погружаясь в свои мысли.

Ей никак не удавалось составить представление о Бивене. Он, без сомнения, был не таким тупым, каким выглядел, и, без сомнения, настолько жестоким, насколько внушал весь его вид. Ее трогало то, что он не забывал переодеться в штатское, появляясь в Брангбо, – она знала, что он это делает, чтобы не вызывать у нее аллергической реакции. А еще ей нравился его прикрытый глаз, как трещина в броне, и его стрижка, похожая на прическу Адольфа Гитлера – *тьфу*, – но у Бивена она выглядела скорее по-детски.

Никогда она не стала бы спать с таким бугаем. Ее период нимфомании давно закончился, и она больше не испытывала неуместных порывов. Однако приходилось признать, что она иногда думала об этом гиганте, перед тем как заснуть, о его обнаженном теле, о тяжелых бычьих яйцах...

Она сделала еще один длинный глоток и посмотрела на строения в форме буквы U, замыкающие пространство сада. Приняв этот пост, она дала волю непозволительному энтузиазму. Она спасет клинику, она все здесь переменит... Четыре года спустя переменилась она сама. Стала циничной, разочарованной алкоголичкой.

Для Брангбо сделать ничего невозможно, и нацисты напрасно на нее насаждают. Институт закрывается сам по себе, исчерпав личный состав. Пациенты мрут как мухи, и часто их уносит голод. Когда она заговаривала о проблемах со снабжением, все думали, что она имеет в виду медикаменты, а речь шла просто-напросто о еде...

Иногда она вспоминала о своих иллюзиях во время учебы на факультете. Безумие казалось открытым окном в сферы искусства, рассудка, воображения. Для нее душевные болезни представляли в образах Роберта Шумана, Ги де Мопассана, Винсента Ван Гога, Фридриха Ницше... Она будет спасать гениев (ну и других тоже) и сделает внятной речь безумия...

Никто не объяснил ей, что профессия психиатра сродни ремеслу тюремщика. В Германии душевнобольных держали взаперти, и никакого лечения им не полагалось – так понималась защита общества от опасных аномальных явлений. И ничем нельзя было помочь этим бедолагам, пребывающим в плену своего бреда, а уж тем более в Брангбо, где свирепствовали диарея, голод и всевозможные болезни, не имевшие ничего общего с душевными расстройствами.

Новый глоток. Господи, как она дошла до такого? Она, дочь миллионеров-коммунистов, что само по себе звучит как анекдот. Но анекдот этим не исчерпывался, если учесть, что ее родители-ленинцы бежали с младшим братом в Америку, этот Вавилон капитализма.

Минна осталась, причем в ее ощущении эмоциональной заброшенности мало что изменилось. Родители мечтали о светлом будущем для всех, но никогда не целовали собственную дочь. Они оплакивали нищету в мире, но не помнили, когда у Минны день рождения. Счастье для них было исключительно глобальным понятием. Тем временем Минна выросла с нянями, которые ее обожали и душили этим обожанием, как бархатными подушками. Рождение брата многими годами позже ничем не помогло: теперь

родители если и обращали на кого внимание, то на младшего. Тем лучше для него.

Все совершенно ошибочно предполагали, что у нее денег куры не клюют. Некоторые даже намекали, что неплохо бы ей вложиться в институт в качестве благотворителя. Но все они ошибались: родители отбыли, не оставив ей ключи от сейфа. Они просто вручили доверенность дворецкому виллы, чтобы тот приглядывал за Минной. В очередной раз они отнеслись к ней как к двенадцатилетнему подростку.

Надо заметить, что она собирала коллекцию. За оскорбительные письма Маттиасу Герингу, кузену знаменитого сподвижника Гитлера и директору берлинского Института психиатрии, или же Герберту Линдену, отвечающему в Министерстве внутренних дел рейха за государственные психиатрические лечебницы, ее должны были уже давно отправить в концлагерь. Но всякий раз «дядя Герхард», старший брат отца, тот, кого прозвали «асфальтовым королем», прекращал любое преследование.

Ее лишили даже этого опереточного мятежа...

Что ей оставалось в подобных обстоятельствах? Коньяк и Брангбо. С алкоголем проблем не было: Эдуард, дворецкий, безотказно снабжал ее. Что касается клиники, там обреталось около ста пятидесяти пациентов, дюжина санитаров, двадцать монахинь и несколько служащих, в каждом из которых Минна видела шпиона СС. Этот маленький мирок кое-как перебивался, получая время от времени продовольствие, а то и медикаменты.

Если быть честным, главным образом аптеку опустошала она сама. Эфир, хлороформ, опиум, кокаин, морфин... все какое-то разнообразие по сравнению с коньяком «Хеннеси».

Позади раздались шаги. По тяжелой поступи она узнала Альберта, этого жирного монстра, который, кажется, и спал в своем халате. Она обернулась: действительно он. Нацист, полудебил, но надежный. Она несколько раз переспала с ним.

– Их доставили.

- Сколько?
- На глаз несколько тысяч.
- Яйца тоже?
- Да.
- Чем ты расплатился?
- Оставшимся морфином.

Минна выкинула окурок, убрала фляжку и выбралась из тачки, где обычно пускала корни.

Ее снова ждала работа.

15

Она направилась к зданию в глубине. Правое называли *Schlangengrube*, «змеиный ров» – большое замкнутое пространство, где больных содержали всех вместе. Оно вполне заслуживало свое наименование.

Слева располагалось крыло отдельных палат, которое можно было бы назвать тюрьмой или застенком, раз уж туда засаживали на долгие годы, оставляя заключенных вариться в собственном бреде и гадить в ведро.

Но на взгляд Минны, настоящим кошмаром был центральный корпус, то есть лечебный. В сущности, «ее» корпус, который немногим отличался от камеры пыток.

Список проводимых в Брангбо экспериментов был длинным: курс лечения ледяной водой, пиявки на лоб, превращающие кожу в сплошные, крайне болезненные язвы, вращающиеся кровати (гестаповцы вполне могли бы позаимствовать эти методы), прижигание каленым железом (страдания считались благотворными) ... Для «дергунчиков» разработали отдельную радикальную процедуру: их полностью загипсовывали или помещали в путы, препятствующие любым конвульсиям. Считалось, что это должно помочь.

Получив назначение, Минна сразу положила конец подобным варварским методам, кроме одного: гидротерапии. Раз на раз не приходился, но этот метод давал кое-какие результаты. Она кинула быстрый взгляд в смотровое окошко. Шесть крошечных ванн, по три с каждой стороны, друг против друга. Больные проводили в них минимум по шесть часов, а то и целый день. Температуру воды старались поддерживать постоянной, и на безумцев это действовало успокаивающе. К несчастью, вода в Брангбо не была проточной, а пациенты постоянно мочились и испражнялись в свои ванны. На выходе получали несчастных, дрожащих в своем мерзком рассоле.

Она зашла в раздевалку. Альберт уже снимал одежду. Она слышала, как он что-то бормотал. Мало ему быть нацистской скотиной, он еще заделался поэтом. Во времена их любовных утех он посвящал ей вирши вроде: «Я твой факел, ты мое пламя». Ха-ха-ха! С Альбертом не соскучишься.

Она тоже разделась.

Несколько лет назад появилась новая терапия. Минна пыталась испробовать все, что можно, даже когда нововведения опять-таки походили на пыточные приемы, – следовало любым способом «сломать барьер» безумия.

Сначала она поверила в метод Сакеля. Он предлагал инъекциями инсулина погрузить пациента в гипогликемическую кому. Затем больного реанимировали, постепенно «подсахаривая» кровь, и смотрели, каков будет результат. Ничего сногшибательного.

Еще она вызывала у больных приступы эпилепсии, вкалывая им кардиазол. Тоже с нулевым эффектом. Ей рассказали о новой операции, заключающейся в просверливании черепа дренажным фитилем и иссечении коллагеновых волокон в лобных долях. Не будучи хирургом, она не могла пойти на такой риск.

Если бы у нее были средства, она скорее выбрала бы итальянскую методику – электрошок. Она уже наблюдала благотворный эффект этой терапии, когда проходила стажировку в госпитале «Шарите». Врачи применяли ее к тем, чья полученная на войне травма проявлялась в постоянной дрожи. Да, пациент под воздействием электрошока ломал себе зуб или два, прикусывал язык или же иногда вывихивал плечо, но результат все же достигался. После жестоких разрядов некоторые солдаты обретали спокойствие...

Раздевшись догола, она натянула рабочий комбинезон из непромокаемой ткани. Дядя Герхард соблаговолил прислать ей нужную экипировку: шоферские комбезы, десятки пар перчаток, сотни рулонов клейкой ленты.

Ныне она сосредоточила все свои усилия на терапии малярией. Предназначенный для лечения больных, пораженных деменцией

сифилитического происхождения, курс состоял в прививании пациентам малярии с целью спровоцировать высокую температуру (она могла подниматься до 41 градуса). Затем их лечили хинином. Предполагалось, что жар на своем пике заставит отступить приступы деменции.

Пока ей не удалось добиться никакого результата, но она не теряла надежды. Лечение, срабатывающее один раз из десяти, было лучше, чем вообще никакого лечения. Психиатрия в Брангбо была этакой немецкой рулеткой.

Минна надела перчатки и прикрепила их пластырем к рукавам. Главное – не оставить никакого зазора. Потом взяла лицевую сетку пчеловода, которую купила на пчелиной ферме в Михендорфе.

Она была готова.

16

Альберт законопачивал стекловатой последние отверстия в помещении. Другой санитар расставлял вдоль стен банки, в которые наливал смесь воды и предварительно разогретого коричневого сахара. Когда эта бурда немного остывала, он добавлял туда щепотку дрожжей. Бок о бок с ним еще один санитар выставлял рядом с каждой банкой масляную лампу, с которой сняли стеклянную колбу, оставив открытым горящий рожок. Всего в комнате расположили двадцать банок и столько же ламп.

Минне, подылавшей от жары в своем комбинезоне, было страшно до тошноты. И в то же время она вынуждена была признать, что это пустое помещение, освещенное только красноватым пламенем стоящих на полу ламп, производит замораживающее впечатление. Все вместе походило на часовню или святилище, где готовились провести эзотерический обряд.

В некотором смысле так оно и было.

Минна, держа под мышкой лицевую сетку, спросила:

– Все готово?

Санитары, расставлявшие банки и лампы, закивали. Она велела им выйти. Вопросительно посмотрела на Альберта: он тоже закончил.

– Ступай за ним.

Совокупность симптомов, проявляющихся на третичной стадии сифилиса и поражающих центральную нервную систему, – изменение личности, нарушение зрения, менингит, деменция – называли «прогрессивным параличом». В Брангбо поступало довольно много подобных пациентов, и все, что оставалось, – это смотреть, как они гниют.

Терапия малярией могла стать альтернативой.

Минна услышала перестук каталки. Альберт втокнул тележку в комнату. Она еще не надела свою маску, чтобы не пугать пациента, но мужчина, привязанный к лежаку, был не в состоянии испытывать

что бы то ни было. Совершенно голый под ремнями, которые его обездвигивали, с уставленными в потолок глазами и вытянутыми вдоль тела руками, он, казалось, впал в каталепсию.

Чтобы лишний раз убедить себя в целесообразности лечения, Минна прокрутила в голове историю болезни пациента: Ганс Нойманн, сорок два года, крайне продвинутая третичная стадия. Жить ему осталось год или два максимум. На лице следы последней стадии спирохетоза. Гуммы^[51] изъели кости и слизистые. Язвы источили нос (остался только крошечный крючочек) и вызвали прободение мягкого нёба (голос шел непосредственно из этого отверстия, заменявшего нос). И разумеется, совершенно безумен.

Минна заставила его семью подписать все мыслимые бумаги – разрешения, освобождение от ответственности и даже право на захоронение, если дело обернется плохо.

– Начинаем. Закрой дверь.

Альберт повиновался, проверив заодно, плотно ли законопачена дверная рама. Комната внезапно погрузилась в странные сумерки: медно-красное пламя ламп испускало танцующий свет, словно они двигались под водой.

Санитар надел головной убор с сеткой. Минна молча взяла лейкопластырь и несколько раз обмотала ему шею. Потом надела свою сетку, и Альберт проделал с ней ту же процедуру.

Их дыхание медленно колыхало сетку на лицах.

– Передай мне флакон.

Альберт протянул ей сосуд, в котором роились многие тысячи комаров. В берлинском Институте тропической медицины один из сотрудников подсел на морфин. Он менял зараженных насекомых (и их яйца) на дозы наркотика.

Минна отвинтила крышку, мгновенно выпустив черную тучу. В долю секунды стены и потолок покрылись черными точками, как полотна пуантилиста Жоржа Сёра. Комары (исключительно самки, кусают только они) носились во все стороны, выписывая жуткие мельтешащие фигуры.

Минна отступила. Альберт тоже отошел в сторону. Они собирались дать взбешенным насекомым искушать пациента. Сеанс продлится минут десять, прежде чем все комары поджарятся в огне масляных ламп – забродивший при контакте с дрожжами сахар выделял углекислый газ, который приманивал комаров.

Нойманн словно покрылся сажей. В это мгновение он повернул голову, и его взгляд потряс Минну. В расширившихся зрачках плескался чистый ужас. По логике ему следовало бы дать анестезию, но у них почти не осталось седативных препаратов, кроме маленького запаса для пациентов, требующих срочной помощи.

Он начал орать, и комары забились ему в рот. Минна замахала руками, пытаясь отогнать их.

– Помоги мне! – закричала она Альберту, и тот кинулся закрывать рот больному.

Им остро не хватало мухобойки. Не будь происходящее так трагично, было бы над чем посмеяться. *Um Himmels willen!*^[52] В молодости, когда она мечтала лечить Фридриха Ницше или помогать Карлу Густаву Юнгу, ей и в голову не могло прийти, что она окажется в подобной ситуации. Значит, вот так и выглядит путешествие по изнанке сознания?

Теперь комары налипли и на ее маску – они чувствовали сквозь сетку выходящий из ее рта углекислый газ. Она больше ничего не видела, и ей хотелось все послать к черту, в том числе и себя саму.

Другие насекомые устремились к банкам с сахаром, и их крылышки сгорали в огне ламп. Настоящий фейерверк. Пациент вопил не переставая. Альберту пришлось ослабить нажим из страха придушить его.

Но комары уже отступали. Или самки уже напились крови, или перебродивший сахар притягивал их сильнее, чем дыхание Нойманна. На какое-то мгновение она решила, что пациент умер. Наклонилась над ним и увидела, что его губы дрожат – оттуда, как черные брызги, выползали насекомые, отяжелевшие от слюны.

Она опустила глаза и посмотрела на его покрасневшее от укусов тело. Еще видны были сотни комаров, присосавшихся к его плоти. Что-то вроде проступившей черной крапивницы. Если он при всем этом умудрился не подхватить малярию...

– Я пошла, – сказала она сквозь маску.

– Но...

– Просто очень осторожно выйду. Потом обработаешь комнату известью.

– А парня вытащить сначала или потом?

Вот такие перлы мог выдавать Альберт. Хороший показатель интеллектуального уровня подчиненных ей санитаров.

В раздевалке она сорвала комбинезон и кинула его в топку – не только чтобы сжечь застрявших в складках комаров, но и чтобы уничтожить связанные с ним воспоминания.

Через несколько минут она уже была в больничной аптеке, вымытая, надушенная, в одном белье под свежим белым халатом. Аптека – слишком громкое слово для нескольких шкафчиков, запертых на висячий замок и по большей части пустых. Но от одного из них ключ был только у нее.

Она открыла его и оглядела свои припасы: негусто. Морфин ушел на обмен, кокаин давно потреблен, осталось немного амфетамина... Недолго раздумывая, Минна потянулась к бутылке с эфиром.

Наркотик – вот то единственное, что было у нее общего с нацистами. Вдобавок к своим гигантским пушкам, секретным подводным лодкам и новехонькой авиации они собирались выиграть войну благодаря амфетамину. Среди психиатров даже ходили разговоры, что Гитлер ежедневно получал свой неизменный укольчик. *Ну и на здоровье...*

Минна откупорила флакон, и резкий запах пахнул на нее дыханием старого друга. Она взяла ватный тампон, пропитала его и сделала глубокий вдох, словно разом проглотила целое яйцо.

Она была убеждена, что будущее психиатрии за химическими исследованиями. Скоро откроют молекулы, реально воздействующие

на человеческий мозг. Их будут усовершенствовать, пока не смогут выборочно лечить определенный психоз или болезнь...

Она часто писала в немецкий химический концерн «IG Farben», чтобы подсказать новые направления исследований и поделиться подсказками, основанными на ее собственных наблюдениях. Ответа она ни разу не получила. Эти лаборатории были слишком заняты поисками молекул, способных многократно увеличить силу и энергию – чтобы не сказать «вогнать в транс» – арийских солдат.

Без сомнения, после войны эти фирмы примутся за работу. Вот тогда мы и получим анксиолитики^[53], достойные этого названия.

Но сначала нужно все смести с лица земли.

Она встала и взяла бутылку эфира. Последняя понюшка на дорожку.

Ей почти не терпелось дождаться начала войны. Чтобы с этим было покончено.

Раз и навсегда.

17

Всю ночь Симон заново прослушивал свои записи. Но не все подряд. Только тех пациенток, которым снился Мраморный человек.

Сюзанна Бонштенгель, понедельник, 27 июля:

«Он тут, передо мной, непреклонный, как скала. Он похож на ангела смерти, явившегося прямо из могилы...»

Маргарет Поль, пятница, 11 августа:

«Его лицо из мрамора. Темно-зеленого мрамора с черными и белыми прожилками. На самом деле это скорее маска, наискось закрывающая лицо и оставляющая свободным рот, чтобы он мог говорить...»

Или вот еще Лени Лоренц, пятница, 25 августа:

«Этой ночью Мраморный человек вернулся. Он сидел за письменным столом, как простой чиновник. И все время проштамповывал бумаги, очень высоко поднимая руку. Каждый раз стол подрагивал. А печать оставляла на бумаге что-то вроде смазанного коричневатого пятна...»

Симон Краус в своем чуланчике выкурил целую пачку сигарет и накачался кофе – он не принимал ни наркотики, ни таблетки, памятуя об отце, которого ни разу не видел трезвым.

Откуда эти одинаковые сны? И на протяжении всего одного месяца? Он делал заметки, размышлял, так и этак крутя в голове рассказы трех женщин.

И ничего не нашел...

У пациенток было кое-что общее. Все три принадлежали к высшему берлинскому обществу и, насколько он помнил, состояли в «Вильгельм-клубе», ежедневно собиравшемся в отеле «Адлон».

Вдобавок все они спали с ним, Краусом. Из разных соображений и с весьма различным энтузиазмом.

Сюзанна Бонштенгель была великосветской дамой с высокими скулами и зелеными глазами. Роковая властная красота. Страдала навязчивыми идеями и kleptomанией. Замужем за промышленником, снабжавшим вермахт запчастями. Сюзанна, скажем так, «опробовала» Симона. Она оказалась чувственной и без комплексов, но повторять опыт не стала. Разочаровалась?

Он вытряс из нее немного денег, угрожая рассказать о ее kleptomании мужу, но потом сам остановился: он опасался этой богачки, слишком умной, чтобы покориться.

Маргарет Поль страдала хронической депрессией (по крайней мере, она так полагала). Ее муж был группенфюрером СС, соратником самого Геринга. Малышка Маргарет поддалась на заигрывания Симона от чистого безделья. Но это не помешало им пережить приятные моменты. *Земля ей пухом.*

Ее он тоже заставил заплатить – супруг всей душой презирал Гитлера, и хотя генерал был лицом неприкосновенным, обнаружение его высказываний вызвало бы массу неудобств. Маргарет раскошелилась с улыбкой, Маргарет все делала с улыбкой...

С Лени Лоренц все обстояло иначе. Прежде чем войти в берлинскую элиту, она жила совсем иной жизнью. Родившись в бедности, она прошла через годы голода, занималась проституцией, потом благодаря невероятному стечению обстоятельств сумела пробиться на самый верх. В итоге, разведясь со своим сутенером-гомосексуалом, она вышла замуж за очень богатого (и очень старого) банкира с моноклем. С точки зрения школы жизни это было настоящим уроком.

Лени с Симоном были одного поля ягоды. Два настоящих рвача, что прекрасно срабатывало в мирное время (неясно, что у них получится в военное). Ни о какой морали они слышать не хотели и признавали единственную цель – наслаждаться жизнью. Можно сказать, вместе они здорово повеселились. Это было как минимум пару лет назад, потом Лени решила осваивать новые охотничьи угодья. Она продолжала обращаться к нему по поводу своих легких невротозов, но про прежнюю «клубничку» пришлось забыть.

Лени приходила к Симону на прием неделю назад, и он решил, что она в прекрасной форме, невзирая на дурные сны...

Он никогда ее не шантажировал – не срут там, где жрут, или, изящнее выражаясь, не следует смешивать дела с чувствами.

В конечном счете эти женщины были очень наивны, потому что маленькие игры Симона грозили опасностью прежде всего ему самому. Если бы он передал свои записи в гестапо (чего он на самом деле никогда бы не сделал), то первым загремел бы в концлагерь...

В восемь утра он пошел на кухню приготовить себе еще кофе. В памяти крутились обрывки записей.

Сюзанна Бонштенгель, вторник, 1 августа:

«Этой ночью Мраморный человек склонился надо мной. Я могла кожей ощутить холод его лица. Его перекошенная маска была похожа на гильотину. Очень мягким голосом он прошептал мне: „Ты не одна из наших“».

Он давненько не видел Сюзанну: она уехала отдохнуть в свой дом на взморье, на острове Зюльт^[54].

Кофе был готов – он заказывал обжаренные зерна из Пьемонта, смесь арабики и робусты, и пользовался итальянской кофеваркой. На его взгляд, маленькие радости жизни стоили того, чтобы превращать их в нектар.

Другая запись. Несколькими днями ранее, Лени Лоренц:

«Я в „Опере“. Вижу алую обивку бархатных кресел, потертое дерево балюстрады. На сцене появляется Командор. Он поет басом – дают „Дон Жуана“ Моцарта.

Под драматические аккорды он поднимает руку и указывает на меня, сидящую в глубине ложи. Все лица оборачиваются ко мне – тусклые, холодные, ничего не выражающие лица.

Сидящие рядом со мной встают, как если бы я подхватила проказу или другую заразную болезнь. Один из них, во фраке, шутовским жестом приподнимает свой цилиндр и плюет мне в лицо».

Необязательно зваться Фрейдом, чтобы уловить значение символа. Этот Мраморный человек – Гитлер, нацизм или же просто то ощущение гнета, которое этот режим вызывает у каждого гражданина Германии:

«Тебе нет места среди нас».

Симон работал со снами вот уже более пятнадцати лет. Он знал, что человеческое сознание стремится камуфлировать свои страхи и желания, преобразовывать их, делая, так сказать, более приемлемыми для собственного разума, – Фрейд давно сформулировал это.

Все три женщины боялись нацизма. Кто бы мог их за это порицать? Даже на вершине власти они тряслись от страха – человек с усиками не был образцом стабильности.

Но подсознание Сюзанны, Маргарет и Лени прибегло к одному и тому же символу, Мраморному человеку. У Симона были свои соображения на этот счет. Он давно уже заметил, что спящий использует в ночных видениях детали, увиденные днем, предметы, на несколько секунд привлекшие его внимание.

Без сомнения, эти три представительницы высшей буржуазии, перед тем как заснуть, видели одну и ту же скульптуру, образ или же

фильм. Что неудивительно: они бывали в одних и тех же местах и тратили время на один и тот же вздор.

Именно к такому выводу и пришел в свое время Симон, не уделив, по правде говоря, этому факту особого внимания. Следует заметить, что с кошмарами, вызванными нацизмом, он сталкивался каждый божий день – его хранилище записей было ими переполнено.

Роберт Лей, руководитель Германского трудового фронта, однажды сказал: «Мы овладеем сознанием немцев до такой степени, что свободными у них останутся только сны». Реальность превзошла его надежды, поскольку даже сны – и Симон мог это засвидетельствовать – оказались полностью заражены нацизмом.

Но существует ли связь между Мраморным человеком и убийством Маргарет? Ответить он не мог, ничего не зная о самом убийстве. Полезной информацией мог служить только тот факт, что Маргарет, возможно, обратила внимание на некий предмет или образ в том месте, где также бывали Сюзанна и Лени.

Одно было точно: он ничего не скажет Бивену. Начнем с того, что Симон из принципа не разговаривал с нацистами. А еще он предпочитал сохранить эту деталь для личного пользования. Как бы оставаться на шаг впереди. *А собственно, впереди чего?*

В девять утра он принял решение. Он отменит все сегодняшние встречи и начнет собственное небольшое расследование. Как минимум это он должен сделать для Маргарет.

Он решил поспать несколько часов, прежде чем приняться за дело. После полудня он заглянет в «Вильгельм-клуб». Его там любили.

Это не новость: все женщины любили маленького Симона.

- Никогда даже не слышал.
- Ты уверен? Ее имя Маргарет Польш.
- Ни сном ни духом.

С тех пор как Гитлер пришел к власти, немцам оставалось одно право: заткнуться. Журналистам в первую очередь. Отныне только Йозеф Геббельс, министр народного просвещения и пропаганды (никто вроде бы не обратил внимания на противоречие в самом наименовании), определял, какие статьи можно допустить к публикации.

Однако некоторые газеты умудрялись протащить кое-какие намеки или использовать эзопов язык, донося до понимающего читателя нечто в корне отличающееся от того, что лежало на поверхности. Если читать между строк, всплывал скрытый смысл и даже определенная ирония, которую оставалось расшифровать...

К счастью, Симон был знаком с редактором, который работал на одно из таких изданий, неким Морицем Блохом. Он назначил ему встречу в «Ашингере» на Александерплац, в одном из самых дешевых ресторанов Берлина. Симону отнюдь не приходилось экономить каждую марку, но он обожал разглядывать молоденьких секретарш, обедавших там на скорую руку, – он так и пялился на их стройные икры, только-только оформившийся изгиб бедер, их мордашки, когда они пожирали сосиски, а главное, только им присущую манеру погружать вилку в салат, высоко задирая запястье с кокетством, которое будоражило его до мурашек.

- Наверняка какая-то политика.
- Не думаю, нет.
- А кто этим занимается?
- Гестапо.
- Ну понятно. Что и требовалось доказать.

Мориц был прав. Обычно уголовщиной занималась Криво. Вмешательство гестапо свидетельствовало, что речь идет о государственных интересах. А может, наверху решили, что убийство супруги генерала может оказаться покушением или же косвенно целит в рейх?

– Ты можешь разузнать?

– Постараюсь.

Мориц Блох был довольно неприятным типом. Болтун с вечно пустыми карманами и настолько язвительный по натуре, что у него вечно кривился рот. Рыжий, бледнокожий, плохо выбритый, волосы ежиком, очень черные глаза. Помесь белки и крысы.

Он всегда ел торопливо, словно только этим утром нарыл сенсацию, комментировал все на свете, придираясь к каждой мелочи, а потом истолковывая ее то в одну сторону, то в другую. А главное, он вечно делал вид, что принадлежит к кругу посвященных, с кем Гитлер советуется, прежде чем принять любое решение.

– С Польшей, – заговорил он (история Поль его явно не заинтересовала), – скоро будет покончено.

– Все знают, что «скоро».

Блох наклонился над своей тарелкой.

– Нет, я хочу сказать, прямо на днях.

– И что?

Симон нажал не на ту кнопку. Мориц тут же пустился в нескончаемые объяснения, касающиеся подноготной, целей, задач и интересов предстоящего вторжения. Полное впечатление, что он расположился за столом переговоров.

Симон не слушал. В большом зале стоял шум, и голос Блоха терялся в общем гуле. Не прерывая лекции, тот чередовал сосиски и «Лёвенброй», едва переводя дух между словами и глотками.

Чистая потеря времени.

И все же этот разговор кое-что принес: если уж Блоху ничего не известно, значит никто не в курсе. Или преступление только-только произошло, или, как он сам полагал, гестапо замяло дело.

Симон отодвинул тарелку. Он проспал всего три часа, есть совсем не хотелось. И уже спрашивал себя, как бы подсократить эту бесполезную встречу, когда сотрапезник резко окликнул его:

– Эй, кончай пялиться!

Окрик заставил Симона вздрогнуть. Пусть бессознательно, его взгляд наверняка был по-прежнему устремлен под юбки.

– В них наше единственное утешение.

– Сразу видно, что ты не женат.

Симон не ответил. Мориц, словно догадавшись о его разочаровании, достал блокнот:

– Хорошо. Как, говоришь, зовут ту тетку? Можешь продиктовать по буквам?

Краус послушно продиктовал.

– А ее мужа?

– Герман Поль, группенфюрер СС.

Блох присвистнул.

– Точняк политика.

– Ты выяснишь?

– Я же обещал, – заверил тот, пряча блокнот.

Симон опасался, что журналист закажет десерт, но тот посмотрел на часы: у него была назначена следующая встреча.

– Ладно, я угощаю, – подвел итог Блох, доставая из кармана розовую карточку, испещренную цифрами и пунктирными линиями.

– Это что?

Искренне удивленный, журналист поднял глаза:

– Ты бы вылезал почаще из своего кабинета, старина. С двадцать седьмого августа всем выдают талоны на питание. Можешь получить свои семьсот граммов мяса и двести восемьдесят граммов сахара!

Не отвечая, Симон смотрел на розовый листок с заранее перфорированными купонами. Похоже на лотерейный билет или на медицинскую анкету.

– А я тебе что говорил? – выпятил грудь Мориц, помахивая талонами. – Война уже на пороге!

От Александерплац до отеля «Адлон» на Унтер-ден-Линден около трех километров. Несмотря на жару, Симон решил пройтись пешком. Он будет там около трех – лучшее время для охоты на дамочек.

Недосып вогнал его в пасмурное настроение, и бесполезный обед дела не улучшил. Он зря отменил сегодняшние сеансы. *Scheiße!*^[55] Берлин сегодня казался ему тяжелым, чопорным, некрасивым. Вильгельм II взялся за строительство, не жалея сил, и, похоже, с прицелом на «нео». А потому к концу XIX века Берлин заполнили здания в неороманском, неоготическом и необарокко стилях... Даже самые обычные дома кичливо украшались чем только в голову взбредет, демонстрируя смесь эпох и стилей.

Противная сторона, то есть беднота, тоже ответила на зов трубы. Промышленная революция вызвала такой приток народа в столицу, что пришлось чуть ли не повсюду строить отдельные кварталы, способные вместить деревенский люд, явившийся попытать счастья в столице.

А теперь нацисты разыгрывали третий тур. Никто не знал в точности, каковы планы Гитлера в отношении Берлина, но без них точно не обошлось. Весь город был в строительных лесах. Для начала сносилось все, что можно; вскоре будет видно, каков результат.

Симон в жизни не признался бы в этом публично, но ему нравилась нацистская архитектура. Было в ней ощущение чего-то колоссального, гигантского, а еще некая brutальная чистота, и это его очаровывало. Чтобы так строить, надо быть на «ты» с богами...

И как раз сейчас он спускался по Унтер-ден-Линден. Когда-то вся улица купалась в тени сотен величественных лип, вздымавших асфальт и вызывавших трепет в сердце. Гитлер все смел. Вместо пышных крон он насадил белые колонны, увенчанные золочеными орлами и свастиками в обрамлении лавровых ветвей. Теперь

перспектива была словно прорублена в леднике, чьи прямоугольные тени готовы были разрезать вас пополам. *Неплохо.*

Симон снова вспомнил язвительные разглагольствования Блоха по поводу Польши и путей развития Третьего рейха. Уже давно он перестал интересоваться политикой. Не то чтобы он решил спрятать голову в песок, просто происходящее вызывало в нем глубокое отвращение, и он был сыт по горло всем, что касалось НСДАП.

Он родился в 1903 году в Швабахе, в Баварии, недалеко от Нюрнберга, и можно сказать, что нацизм был его колыбелью. Для начала этими пакостными идеями его с самого рождения пичкали дома. Патриот, антисемит, опьяненный утраченным германским величием, его отец представлял собой сгусток злобы. Вспыльчивый алкоголик, страдаемый желчью и жестокостью... от него лучше было держаться подальше.

Симон вырос в постоянном страхе перед его приступами. В то время он еще ничего не понимал в том бреде, который нес отец, – он запомнил только горловые звуки, скрежет зубов, нервную дрожь и, конечно же, удары кулака в лицо матери. Вот каким предстал перед ним великий германский дух.

Когда отец вознамерился прикончить мать совком для угля, одиннадцатилетний Симон вмешался и получил удар в лоб. Надбровная дуга была рассечена. Сквозь алую пелену он видел, как сыпались удары на валяющуюся на полу мать, пока она не превратилась в истерзанное тело, в груды развороченной плоти. В конце концов отец убежал – и никогда больше не вернулся. На самом деле, хотя ни Симон, ни мать об этом не знали, у мерзавца в кармане уже лежал приказ о мобилизации. *Добро пожаловать в окопы... И чтоб ты сдох с разъявленным ртом от газа и снарядов.*

Молитвы юного Симона были услышаны. Петер Краус погиб, живьем засыпанный в траншею. Ребенок и мать благословляли Большую войну, избавившую их от монстра.

Они перебрались в Нюрнберг и благодаря маленькой пенсии, к которой прибавлялись доходы матери, подрабатывавшей шитьем,

выжили. Очень рано Симон тоже начал работать, в основном в пивных.

Вот там он и наблюдал зарождение нацизма, самого настоящего.

На сегодняшний день официально считалось, что причиной рождения Коричневого дома стала немецкая капитуляция, гнусный Версальский договор, унижение германского народа. Возможно. Но нацизм родился в основном из пива. В затхлых испарениях хмеля и алкогольных парах, пропитывающих мозги. В прокуренных пивных, воняющих отрыжкой и мочой, которые по вечерам в свете колеблющихся свечей ходили на огромные кровоточащие человеческие органы, где прорастают эти чертовы антисемитские идеи, это желание всех поставить на колени и раздавить народы Европы...

Работая сверхурочно в Мюнхене, Симон даже видел собственными глазами Гитлера, который тогда только начинал. В то время он выглядел скорее бродягой, которому бросали монетку, чтобы тот показал свой коронный номер. Люди смеялись, некоторым нравилось, но Симон уже тогда понял: этот человек был раковой опухолью, и она начнет распространяться чудовищными метастазами...

Дома он не был счастлив. Мать обращалась с ним так, словно он чудом уцелел на Большой войне. Он был выжившим. Он был принцем. Но Симон не желал ни такой любви, ни привилегированного положения. Принц – да, тут он был согласен. Но только для матери. Симон Краус еще покажет миру, на что он способен. Вот только придется поторапливаться, потому что нацизм собирается заняться тем же самым.

В его маленькой, на редкость красивой голове дальнейший путь всегда представал бегом наперегонки с национал-социализмом. Двадцать лет спустя можно было сказать, что он эту гонку выиграл, – во всяком случае, он заполучил свое место под солнцем раньше, чем фюрер все разрушил.

Благодаря блестящей учебе, продуманному выбору, с кем спать, и весьма сомнительным махинациям ему удалось пробраться на самую вершину. Из-за войны все пойдет прахом? Не стоит беспокоиться, он сумеет выйти сухим из воды. Сбежит в Америку или женится на богатой вдове. А может, и то и другое.

Одно неоспоримо: он видел, как зарождался нацизм, и увидит, как тот умрет. Вся штука в том, чтобы его пережить.

Симон был всего в паре сотен метров от отеля «Адлон» – уже показались Бранденбургские ворота, – но пот лил с него градом. Он проклял себя за то, что не зашел после обеда домой: встреча с Адлонскими Дамами требовала полной боевой готовности.

В конце концов он нашел скамейку в теньке, чтобы немного подсохнуть, присел и мгновенно заснул, как какой-нибудь бродяга.

20

– Дорогой, а как тебе вечернее платье и шелковый трикотаж?

– Белое или черное?

– Белое.

– А время года?

– Весна. Может, градусов двадцать к вечеру. Что накинуть поверх?

– Вязаное болеро. Я бы сказал, из ангорской шерсти, розовое или белое.

– Именно! – воскликнула Магда, поднимаясь с подлокотника кресла Симона. – А что я тебе говорила!

Она устала указательный пальчик на другую женщину, которую Симон не знал; ее глаза торжествующе блеснули.

– И с огромным бантом вдобавок!

Она снова повернулась к Симону, опустилась на одно колено и пристроила подбородок на его скрещенные руки.

– Лапочка, – проворковала она медовым голосом, – ты и впрямь самый лучший!

Симон принял комплимент с должной скромностью, лишь согласно кивнув. Он повсюду рассказывал, что бывал в Париже на показах Коко Шанель, Жанны Пакен и Люсьена Лелонга, что было чистым

враньем. Он тогда жил в грязной каморке для прислуги, и, сказать по правде, в 1936 году в Париже немецкое происхождение служило не лучшей визитной карточкой. Ему еле-еле удалось переспать с несколькими пожилыми дамами, встреченными в дансинге в «Куполь», чтобы было чем заплатить за угол.

Сейчас уже начало пятого. Симон проспал на скамейке больше часа. *Следователь из тебя...* И все же он застал «Вильгельм-клуб» в полном расцвете, что и требовалось.

Если атмосфера «Кайзерхофа» с его огромным холлом, растениями в горшках и стеклянными потолками – так и казалось, что вот-вот грянет большой вальс, – была скорее венской, то в «Адлоне» царил куда более немецкий дух. Его высокие своды, германские гербы, мраморные колонны и канделябры напоминали помпезную гигантскую таверну. Флорентийские статуи и мраморные лестницы вносили итальянскую нотку в стиле Возрождения.

«Вильгельм-клуб» собирался в глубине гостиничного бара, в маленьком зале, где дамы любили пощебетать за бокалом шампанского. Симон бывал и в других салонах – у графини фон Ностиц, коллекционирующей фашиствующих артистов, или у баронессы фон Дирксен, которая принимала старых пруссаков вперемешку с нуворишами, – но мало что могло сравниться с «Вильгельм-клубом». Почему? Тут собирались самые красивые женщины Берлина, вот и все. Без малейших интеллектуальных или артистических претензий, без всяких позывов к благотворительности. Только красота, смех и пузырьки шампанского. Остальное поищите в другом месте.

Среди двадцати собравшихся женщин Симон знал только четверых или пятерых. Тех, кого он хотел повидать, – Сюзанны и Лени – сейчас здесь не было. Ничего страшного, он все же сможет наскрести кое-какую информацию. Первое, что было очевидно: никто не в курсе убийства Маргарет Польш.

Дамы приняли его, как стайка кур в курятнике, куда давно не заглядывал петух. Каждая распиналась как могла, восхищаясь его

костюмом, шляпой и воркуя на ушко ласковые слова. Великодушный Симон покорно все сносил, хотя от этого кудахтанья у него началось легкое головокружение.

Магда, та, которая спрашивала совета по поводу своего весеннего туалета, теперь ораторствовала, обсуждая достоинства новой коллекции «Дженсен», знаменитой американской марки купальников. Он мимоходом заметил, что большинство дам щеголяют загаром. Они только что вернулись с отдыха и, война там или не война, не замедлят отправиться обратно.

Симон улыбнулся и поднес к губам бокал шампанского. Он устроился, как паша, в глубоком кожаном кресле. Ему нравилась Магда. Родом из Польши, не больше тридцати; поговаривали, что она одна из богатейших женщин Берлина. Выйдя замуж за престарелого польского князя, перебравшегося в Германию, она в двадцать пять лет овдовела и оказалась наследницей огромного состояния.

Она была самой красивой, с личиком невинного ангела под светлыми, чутко подвижными бровками и губами настолько чувственными, что приходилось опускать глаза. Волосы, уложенные мелкими завитушками на висках, были не светлыми, а белыми. Ее красота поражала. Желая поиграть на контрастах, она любила носить маленькие черные очки, которые на ее призрачном личике походили на монеты в два пфеннига, какие кладут на глаза покойника.

Симон мечтал бы завести с ней интрижку. Увы, она никогда не обращалась к нему за консультацией. Никаких тревог или плохих снов на горизонте. Напротив, она явно пребывала в великолепной форме – по слухам, она была заядлой спортсменкой и ее чуть не взяли в национальную сборную по плаванию.

– Оставь ты этих истеричек, – неожиданно произнес укоризненный голос. – Они сейчас изнасилуют тебя, не сходя с места.

Симон поднял глаза: Соня Лов, президент клуба, взяла его за руку, чтобы отвести в более спокойный уголок. Он не заставил себя просить. Эти муслиновые платья, шелковые креповые юбки и кружевные блузки в конце концов просто вогнали его в транс. Здесь можно было забыть о призывах Геринга к самоограничению – «Пушки вместо масла!» – и о талонах на питание Блоха.

Симон и Соня расположились в алькове, в распростертых объятиях бархатных кресел.

– Давненько мы не виделись.

– Все работа. У психиатров отпуска не бывает. А вот праздность, напротив, способствует неврозам.

– Что ты здесь делаешь? Ищешь новую любовницу?

– Нет. Мне вас не хватало, вот и все. А где Сюзанна?

– Вероятно, по-прежнему на Зюльте.

– А Лени?

– Тоже где-то на отдыхе. Ты, случайно, не маешься ностальгией?

Здесь все в курсе, что у Симона был роман с этими двумя женщинами. Он выглядел как тип, который роется в своем прошлом, надеясь отыскать что-то новенькое.

Соня скользнула рукой под его ладонь и положила голову ему на плечо.

– Знаешь, в нашей коллекции прибыло! Гертруда, вон та, должна тебе понравиться...

Она указала на молодую женщину в платье в морском стиле с белой каймой на воротнике и маленьким вышитым якорем между грудей. Каре черных, коротко стриженных волос обрамляло тонкое, как у Греты Гарбо, лицо с маленьким, но твердым, словно швартовочный трос, ротиком.

– Действительно хороша.

– А есть еще Элизабет...

Та была высокой, со скульптурными формами – широкие плечи и плотные округлости. С непокрытой головой и волосами, будто

осыпанными золотыми блестками, она походила на бронзовую с позолотой статую Афины, которую он видел в Париже.

Симон не мог отдать должное им всем; к тому же он не для того сюда пришел. Он мягко высвободился из объятий Сони и напрямую спросил:

– От Маргарет у тебя тоже нет известий?

Вопрос был рискованный, но ему важно было увидеть ее реакцию. Патронесса клуба не дрогнула.

– Честное слово, похоже, ты и впрямь зациклился на своих бывших. Или что? Мы для тебя недостаточно хороши?

– Ты права, – натужно засмеялся он. – Меня стала мучить ностальгия.

– Я уже довольно давно не получала от нее известий, – удостоила его ответом Соня. – Наверно, тоже уехала отдыхать...

Симон несколько секунд вглядывался в чуть суровое лицо Сони – шляпу она носила сдвинутой на правый глаз, что еще больше подчеркивало ее властность. Она явно ничего не знала.

Он не очень представлял, как поддержать разговор, но одна из дам выручила его, поставив на граммофон пластинку, старый добрый свинг, категорически запрещенный нацистским режимом.

Симон мгновенно вскочил на ноги. Он прекрасно разбирался и в моде, и в анекдотах, но где он был действительно силен, так это в танцах. Прежде всего он оставался *Eintänzer*, наемным танцором. Вальс, танго, чарльстон, фокстрот, но также бальбоа, буги-вуги, линди-хоп... Как раз «Tar Paper Stomp»^[56] сейчас и зазвучала; он схватил за руку Соню и увлек ее в размашистый, гибкий линди-хоп.

Ритм был как раз такой, чтобы бедра мадам мелькали с самой неприкрытой дерзостью. Соня заходилась в хохоте, в то время как другие Дамы окружили их, хлопая в ладоши. Тут было чем наслаждаться: прекрасная женщина, повинующаяся движениям его рук, ритм, уносящий подобно мягко волнующемуся морю, музыка, запрещенная рейхом и звучащая в глубине бара «Адлон» как

провокация. Господи, какой же кайф оказаться по правильную сторону баррикад!

Он чередовал отдельные па с текучей плавностью рептилии. Маленький рост давал ему преимущество, потому что он с легкостью мог опрокинуть партнершу себе на спину – *ну вы понимаете*. И наконец он закончил свой номер дьявольским кульбитом, позволившим нескольким везучим лакеям разглядеть трусики супруги одного из самых зловещих генералов вермахта.

Когда музыка закончилась, Симон сказал себе, что выиграл партию. Он ничего не узнал, но, по крайней мере, Соня не заподозрит, что он ведет расследование.

За аплодисментами последовал смех, в бокалах засверкало шампанское. С улыбкой на губах Симон подошел к своей партнерше, как бы смакуя победу.

Соня Лов покровительственно улыбнулась ему:

– А ты ведь от меня что-то скрываешь.

21

Оказавшись на Вильгельмштрассе (он снова решил пройтись пешком), Симон испытал момент просветления: вести в одиночку такое расследование невозможно. Он по-прежнему не имел представления, как и когда была убита Маргарет. Он не знал, есть ли подозреваемый и имеется ли вообще хоть какой-нибудь след. И у него не было ни единого шанса самому докопаться до фактов.

Если он хотел продвинуться, оставалась единственная возможность: снова связаться с *гигантом*, то есть с гауптштурмфюрером Францем Бивеном. В качестве жеста доброй воли Симон расскажет ему все, что знает, – Мраморный человек был всего лишь сном. Может, в ответ гестаповец поделится с ним какой-нибудь информацией...

Тут он сообразил, что находится всего в нескольких кварталах от дома 8 по Принц-Альбрехтштрассе – а вдруг вот он, удобный случай нанести визит господам из гестапо? *Кончай нести чушь*. Он никогда не посмеет. Об этом проклятом месте ходило множество слухов, но все они сводились к одному – сюда легко войти, но невозможно выйти.

Он благоразумно продолжил прогулку и испытал радостное облегчение, оказавшись на Потсдамской площади. Его квартал. Его дом. Его периметр безопасности. Оставалось только перейти через площадь. И тут его во второй раз осенило.

Потрясение было столь сильным, что у него перехватило дыхание и пришлось присесть на скамейку рядом с киоском.

Сюзанна и Лени тоже мертвы. Все три убийства скрыли сознательно – куда уж проще, всего лишь намекнуть, что три богачки уехали отдохнуть на остров Зюльт?

Симон обхватил голову руками, уронив шляпу. Когда он ее подобрал, истина расколола его как стекло.

Всем этим женщинам снился Мраморный человек. И они были убиты.

Симон решил снять последние предохранительные гайки с собственного рассудка и сформулировал следующее: убийца и есть тот самый Мраморный человек, явившийся из мира снов, чтобы совершать свои преступления.

В таком случае никто, кроме него, Симона, «нейролога», специалиста по сновидениям, конфиденанта этих дам, не сможет определить, кто убийца.

Scheiße! Scheiße! Scheiße!

Франц Бивен не мог поверить в такое невезение.

– Кто обнаружил тело?

Унтершарфюрер Гюнтер Хёлм, которого все звали Динамо, подошел, сжимая в своих ладонях-экскаваторах крошечный блокнот:

– Гуляющая парочка. Они заблудились в окрестностях замка Бельвю около трех часов дня. Есть же люди, которые так и ищут приключений на свою задницу.

Тонкий намек на репутацию Тиргартена: с наступлением ночи «одноразовые партнеры» устраивали там групповухи в густых зарослях.

Бивен бросил на Хёлма самый презрительный и властный взгляд, на какой только был способен. Напрасный труд. Динамо (никто не знал, откуда взялось это прозвище) был как разболтанная деталь, гвоздь в сапоге, пятно яичного желтка на прекрасной черной форме. Но Бивен с самого начала таскал его за собой. И в штурмовые отряды, и в берлинскую полицию, и, наконец, в гестапо. Тот был его коллегой, другом, козлом отпущения, талисманом.

– Проводи меня.

Они находились на северо-западе Тиргартена, недалеко от Шпрее. Бивен терпеть не мог этот парк. Его мрачный лес, глухие закоулки, дикие животные слишком напоминали родной Цоссен.

Он все сделал, чтобы сбежать от этой дерьмовой природы, а тут она опять липла к подошвам в самом центре столицы. Он по-прежнему надеялся, что Гитлер в своем навязчивом стремлении все перекроить заменит эти зеленые пространства на казармы и блокаузы. *И чтоб повсюду руны, орлы, свастики!*

Бивен шел, склонив голову и глядя, как сапоги зарываются в хрусткую листву. Он думал об огне, который можно развести с охапками такого валежника. О вечернем запахе на ферме. О матери,

которую убила земля, и об отце, которого война превратила в безумца.

Третье убийство. *Verdammt!*^[57] На деле вместо польского фронта он скоро окажется в Ораниенбурге-Заксенхаузене, да-да, и будет махать кайлом и дробить камни. Нужно любым способом спихнуть с себя это расследование. И срочно подкинуть начальству какой-нибудь повод для размышлений. Иначе ему светит концлагерь.

Они дошли до оцепленной эсэсовцами лужайки, совсем рядом со Шпрее. От реки доносился тяжелый плеск воды. На одном краю поляны спиной к ним в позе покаяния лежал труп, уткнувшись лицом в основание огромного дуба.

Как и предыдущих, женщину не раздели: на ней оставалось летнее платье, легкий пиджак. Изорванная одежда застыла в свернувшейся крови. Убийца не поленился задрать заскорузлые от гемоглобина лохмотья, чтобы обнажить белые ягодицы в непристойной и унижительной позе.

И конечно, никакой обуви.

Приблизительно на метр вокруг землю устилали почерневшие фрагменты плоти. Органы, застывшие в собственной жидкости. Убийца распотрошил жертву и разбросал куски, как бросают собакам остатки дичи.

– Шуцманы^[58] сразу вызвали нас, – пояснил Динамо.

– Почему нас?

– Все полицейские службы в курсе. Убийца-псих, как в старые добрые времена Петера Кюртена? И все это на нашу голову.

Франц хранил молчание. Давление на мозг ощущалось физически, как будто ему зажали виски в стальных тисках.

– Мы ничего не трогали, – уточнил Хёлм.

– И правильно сделали.

– Мы знали, что ты захочешь сам этим заняться, – ухмыльнулся тот. – У тебя всегда были шаловливые ручонки.

Бивен не был уверен, что сегодня выдержит ернические подколки Динамо. Он снова бросил на него взгляд. Хёлм представлял собой

целый зоопарк: большое красное лицо, похожее на задницу бабуина, бегающие серебристые глазки, все время ускользящие подобно вытасненным из воды пескарям, бычья шея, кряжистые плечи, мощные руки и ноги. И ко всему этому волосат, как горилла.

Каблуком сапога Бивен перевернул тело. В шорохе листьев оно явило широкую чернеющую рану на горле. Низ живота зиял пустотой, не вызывающей желаний разглядеть ее поближе.

Зато лицо, несмотря на землю и слипшиеся волосы, было на редкость тонким. Такая красота ранит мужчин, напоминая им, до какой степени сами они посредственны и как безнадежны их желания.

Убийца остервенело кромсал женщину: на животе видны были многочисленные разрезы. Как и у двух предыдущих жертв, имелись также раны, полученные при попытке обороняться, – на пальцах, руках, торсе.

Бивен заметил и следы укусов. Тиргартен славился дикой фауной: лисы, куницы, кабаны... Весь этот животный мирок пытался выжить под сенью Колонны Победы, подальше от праздношатающихся гуляк.

Бивен не был медиком, но отлично представлял, как все происходит в природе: на глаз он прикинул, что женщину убили утром. Звери не успели дать волю зубам.

– Известно, кто она?

Динамо протянул ему дамскую сумочку. Бивен взял ее, отметив качество кожи, инкрустированной жемчугом, – опять из богачек. Наверняка жена какой-нибудь шишки. А может, и член «Вильгельм-клуба». *Scheiße!*

Отыскал удостоверяющие личность документы в кавардаке из пудрениц, тубиков с помадой и банкнот. Убийца явно не был вором.

Лени Лоренц. Родилась в девятьсот восьмом. Девичья фамилия – Клинк. Проживает в квартале Грюневальд. Ему уже где-то встречалось это имя. Она была близкой подругой Сюзанны

Бонштенгель и Маргарет Польш. И фигурировала в его списке «свидетелей, не подлежащих допросу».

Убийца точно знал этих женщин. И даже посещал их салон. *Надо копать в этом направлении.* Но Бивен для таких дел не годится. Ему не по силам изображать легкомысленного волокиту или незаметно проникнуть в клуб...

Все, что он может, – это выполнять стандартную полицейскую работу. Вытрясти душу из мужа. Из шофера. Из прислуги. Однако новый труп предоставлял ему неожиданную возможность провести расследование на свой лад, а не тащиться по стопам Макса Винера, дознавателя из Крипо. Прежде всего нужна качественная аутопсия, проведенная по всем правилам.

Он посмотрел на дело шире. Арестовать всех недавно выпущенных преступников, всех фетишистов, зациклившись на обуви, всех служащих отеля «Адлон», всех гулявших в Тиргартене, всех, кто в последние месяцы разговаривал с Сюзанной Бонштенгель, Маргарет Польш и Лени Лоренц, всех, кто их близко или не очень близко знал или же просто встречался с ними в «Адлоне», на теннисе, в модных магазинах, в ресторане... Он заполнит под завязку внутреннюю тюрьму гестапо в доме 8 по Принц-Альбрехтштрассе, а также тюрьмы Плётцензее, Шпандау, лагерь Ораниенбург-Заксенхаузен, Дахау...

Он мог это сделать.

Он мог все – это же гестапо, мать вашу.

– Ладно, увозим ее или как?

Красная рожа Динамо привела его в чувство. Он не сделает ничего подобного. Напротив, следует действовать тонко, а с такими парнями, как Хёлм, ни о какой тонкости и речи быть не может.

И все же он был несправедлив. Динамо нравился девицам куда больше, чем, например, он сам. Хёлм не скупился на шутки и всегда находил верный тон, чтобы завязать доверительные отношения. Прямая противоположность Бивену.

Такова жизнь. Динамо, страшный, как обезьянья задница, легко снимал *фройляйн*, а он, Франц Бивен, красивый, как скульптура Арно Брекера^[59], внушал им страх и презрение. Эти девицы, так любившие жизнь, чувствовали исходивший от него запах смерти, разрушения, кровопролития. Мужественность приветствуется. Зверство нет.

– Ну? Решай уже.

Бивен коротко кивнул:

– И скажешь Кёнигу, что на этот раз будем действовать по-другому.

Вальтер Кёниг был судебным медиком в госпитале «Шарите», самом большом медицинском заведении Берлина. Обычно Бивен или Динамо просто диктовали ему, что писать в отчете о вскрытии.

– Что ты хочешь сказать?

– На этот раз он должен провести настоящую аутопсию, усек?

Динамо ухмыльнулся:

– Куда катится наше ремесло.

Бивену пришла в голову еще одна мысль:

– И скажи также парням из КТИ, чтобы явились сюда и посмотрели, не найдут ли чего...

– Каким парням?

– Ты сам прекрасно знаешь, парням из новой лаборатории, ну...

Хёлм почесал затылок:

– Н-да, пора мне на пенсию...

Франц глянул, как эсэсовцы бодро расхаживают по лужайке: мало шансов, что специалистам удастся обнаружить какой-нибудь след на этой затоптанной земле.

Сейчас парни поднимали тело, чтобы переложить его на носилки. Он отвернулся. За пятнадцать лет в СА и СС он навиделся жути, и немало, да и сам принимал участие в куче жутких дел, но видеть, как эту женщину с разверстым животом уносят на носилках, было невыносимо.

– Свидетели есть?

– Никого, кроме гулявшей парочки. Но мы еще поищем. Наверняка найдутся какие-нибудь бомжи или извращенцы. Хотя местечко здесь действительно глухое.

Бивен повернулся к реке:

– Посмотри, что там с баржами. Кто знает...

В горле стоял терпкий привкус. Как могли произойти такие убийства? Почему намертво забуксовало расследование? Три исчезновения в Берлине, кишасем мундирами и осведомителями, работающими на СС...

Разве что убийца совершенно не похож на обычного преступника – и хорошо знал жертв. В эту ловушку Бивену не стоит соваться: глупо искать записного злодея вроде «Дюссельдорфского вампира» или «Ганноверского мясника»... Нет, человек, который им нужен, наверняка денди, покоритель сердец, соблазнитель. Мужчина, который сумел вскружить голову этим бездельничающим женам и завлечь их на свою территорию.

Он снова подумал о Симоне Краусе. По многим показателям психиатр вполне подходил на эту роль. Следует проверить, были ли Сюзанна Бонштенгель и Лени Лоренц также его пациентками. И этот карлик точно вхож в «Вильгельм-клуб», он как раз с ними одного поля ягода. Но предположить, что он убийца? Что за бред! Такого недоростка жертва прихлопнула бы в два счета. Чтобы убивать, нужно быть сильным и безжалостным – уж кому-кому, а Бивену это хорошо известно.

Он подумал о более простом варианте: преступник вращается в высших сферах НСДАП. Элита СС кишела пришедшими к власти серийными убийцами. Это было почти необходимым условием, чтобы заполучить пост. Но вот так пачкать руки? Кромсать утробу каких-то теток? Бивен плохо себе это представлял: убийцы от рейха предпочитали массовость. Их больше интересовало количество, а не качество. И скоро они оторвутся по полной в Польше...

Динамо, прекрасно знавший Бивена, пихнул его в бок:

– Не дергайся ты. Мы его возьмем. Просто мы не привыкли искать настоящих виновников.

Хёлм прав: они не полицейские и не следователи. Они каратели, палачи-самоучки, умеющие лишь взламывать двери и вытаскивать за волосы подозреваемых, которых им подносили на блюдечке.

На этот раз все складывалось по-другому. Они имели дело с настоящим преступником. С хищником, который сам охотился и умел уходить от преследования.

Сквозь просветы между деревьями Бивен наблюдал за своими людьми – воротники кителей и фуражки поблескивали в лучах послеполуденного солнца. словно чья-то кисть нанесла медовые мазки на каждую нашивку, каждый козырек.

Куча никчемных болванов бродила по оцепленному участку, не зная ни что делать, ни хотя бы чего не делать. Один из них фотографировал, но, кажется, не очень уверенно обращался со своим аппаратом. Почувствовав, что за ним наблюдают, он бросил взгляд на Бивена и уверился в одном: если он обделается со снимками, у него будет куча времени повисить свою квалификацию в концлагере.

Бивен ушел, не дожидаясь Динамо, и решительным шагом направился к широкой магистрали, пересекавшей Тиргартен с востока на запад. Он уже собирался сесть в свой «мерседес», когда увидел, как подъезжают несколько фургонов и машин гестапо. Что до скрытности, им еще учиться и учиться.

«Мерседес» тронулся с места, и Бивен поразился крайнему убожеству пейзажа. Широкая прямая трасса, по обеим сторонам сплошной лес. Удручающее зрелище, даже в это время дня, когда послеполуденное солнце изливало золотые потоки.

Скрытность, повторил себе он. Он и сам был охотником. И умел подобраться к добыче совсем близко. Но ему придется забыть все, чему он выучился за последние пятнадцать лет, этих грохочущих лет в СА и СС, чтобы вновь стать тем мальчишкой, каким он был когда-то, – непревзойденным охотником в лесу своих предков.

23

– Я разочарован, гауптштурмфюрер. Весьма разочарован.

Едва вернувшись в гестапо, Бивен был вызван на ковер к непосредственному начальству, обергруппенфюреру Отто Пернинкену, который, по всей видимости, был осведомлен не хуже его самого об убийстве Лени Лоренц. Как минимум одно достоинство за гестапо следовало признать: информация тут передавалась молниеносно.

– Сколько времени вы уже работаете над этим делом?

– Шесть дней, обергруппенфюрер.

– И каковы результаты? – Шеф не дал ему времени ответить. – Никаких. Ноль. Полное отсутствие и зацепок, и подозреваемых. А теперь еще и новое убийство.

Пернинкен сложил руки на кожаном бюваре, лежащем на его письменном столе. Обергруппенфюрер представлял собой стопроцентно чистый продукт национал-социализма, без малейшей накипи или примесей. Этот офицер родился не из лона женщины, а из окопов Соммы^[60]. Его околоплодными жидкостями были кровь поражения и пот побежденных.

Но то же самое можно было сказать и о Бивене.

Пернинкен всеми фибрами души одобрял все постулаты гитлеровского режима. И делал это не слепо, а потому, что каждой своей клеточкой разделял его идеи и ценности.

– В Тиргартене действовал тот же убийца, верно?

– Безусловно тот же. По предварительным данным...

– Я прочту ваш рапорт. – Пернинкен повысил голос. – Вы отдаете себе отчет в общественном положении жертв?

– Полностью, обергруппенфюрер.

– А вы отдаете себе отчет в историческом моменте, который мы сейчас переживаем?

– Я прекрасно все понимаю, обергруппенфюрер.

– Вы думаете, это подходящий момент, чтобы выказывать слабость? Чтобы позволить говорить, будто рейх не может защитить жен представителей своей элиты?

– Нет, обергруппенфюрер.

Что касается внешности, Пернинкен был величественно лыс – как королевский гриф. Розовый, блестящий, абсолютно голый череп. Под этим монументальным куполом его черты выражали жесткую властность, нечто, что гнет подковы и сворачивает в бараний рог все прочее. Как ни странно, эта розоватая кожа напоминала младенческую и прекрасно гармонировала с черным мундиром из плотной ткани, похожей на сукно солдатских одеял.

– Так чем вы тогда занимаетесь, мать вашу?

– Обергруппенфюрер, позвольте напомнить, что обстоятельства весьма непростые.

– Будь дело простым, его бы оставили Крипо.

– Необходимость скрывать факт произошедшего затрудняет расследование. Мы не можем ни напрямую опрашивать наиболее близких жертве свидетелей, ни взаимодействовать с другими полицейскими службами.

– Гестапо ни в ком не нуждается.

– Я вас понимаю, обергруппенфюрер, но и вы поймите, насколько эти ограничения тормозят ход дознания.

Пернинкен встал и, заложив руки за спину, подошел к окну. Все начальники полиции на всех широтах и во все времена разыгрывали эту сцену. *Законы жанра.*

– Что у вас на самом деле есть?

Бивен чуть не ляпнул «ничего», но в последний момент опомнился:

– У жертв много точек соприкосновения. Например, все они бывали в «Вильгельм-клубе», светском салоне, где...

– Я в курсе. Что еще?

Больше у Бивена ничего примечательного не было, но разговор с маленьким психиатром и историю с Мраморным человеком он

предпочел оставить при себе. *На всякий случай.*

– Короче, – уклончиво заметил он, – они были знакомы друг с другом и часто участвовали в престижных светских мероприятиях, связанных с жизнью нашего рейха.

Пернинкен обернулся. Он был не так высок, как Бивен, но тоже весьма внушителен.

– Не вздумайте взять под подозрение кого-то из наших.

Полный назад.

– Я не это хотел сказать, обергруппенфюрер. На самом деле я склоняюсь к версии убийцы-психопата, выбирающего очень красивых женщин, чтобы утолить свои кровожадные побуждения.

– Вы сами к этому пришли?

Пернинкен снова развернулся к окну. В лучах послеполуденного солнца его голый череп, обычно выглядевший угрожающе, теперь походил на детский воздушный шарик, готовый улететь.

У генерала была одна особенность: он верил в проклятия, порчу и человеческий магнетизм. Чтобы защититься от любой невидимой напасти, он рассовал по всему кабинету свинцовые плашки, источавшие тяжелый горький запах. Запах стоматологической лечебницы.

– Вначале, – продолжил Франц, будто не услышав, – я считал приоритетным политический след.

– Что вы хотите сказать?

Еще одно раздражающее слово. Он снова сдал назад:

– Но вскоре я понял, что ошибся.

– Объяснитесь.

– Ну... я сказал себе, что, возможно, мотивом преступлений были ответственные посты супругов жертв. Посредством этих убийств кто-то пытался добраться до элиты нации.

– Смешно.

– И я пришел к такому же выводу.

– И что?

– На данный момент я склоняюсь к версии убийцы, действующего без внешних побудительных мотивов, только в силу собственных преступных наклонностей. Он заметил этих женщин, проследил за ними или заманил в ловушку, а потом дал волю своим варварским инстинктам.

– Расскажите мне что-то, чего я не знаю.

Франц перевел дыхание. На самом деле он рассуждал вслух:

– Этот убийца знаком со своими жертвами. Или, по крайней мере, он знает, как завоевать их доверие.

– И что?

– Возможно, речь идет о ком-то из персонала отеля «Адлон», или о шофере, или о слуге. Все эти люди действуют в тени и вроде бы на короткой ноге с такими женщинами, как Сюзанна Бонштенгель или Маргарет Польш.

Обергруппенфюрер сделал несколько шагов:

– Думаю, вы правы, Бивен.

Франц почувствовал, как воздух покидает его грудную клетку. Сам того не замечая, он некоторое время задерживал дыхание.

– Убийца – какое-то ничтожество и наверняка унтерменш. Может, еврей.

– Я думал об этом, обергруппенфюрер.

Полное вранье, эта мысль даже не приходила ему в голову. На его взгляд, евреям сейчас хватает забот с собственным выживанием, чтобы нападать на кого бы то ни было.

– Но среди персонала больших гостиниц, дорогих ресторанов и прочих престижных заведений евреев больше нет, – продолжил он. – Мы трудились не покладая рук, и нам удалось очистить улицы Берлина от этих паразитов!

Легкое прищелкивание каблуками было не лишним. Пернинкен кивнул. Такого рода иносказательные обороты всегда встречали благосклонный прием в штаб-квартире.

– А конкретно, на каком вы этапе?

– Я восстановил распорядок дня каждой жертвы и послал людей в те места, где они часто бывали. Также опросил домашний персонал, дворецких и водителей каждой из жертв. Что касается гостиниц и ресторанов, я прибегнул к помощи детективов и местных управляющих.

Пернинкен снова кивнул. Единственный способ его успокоить: дать понять, что дело движется, все кипит, но с соблюдением полной секретности.

– Кольцо сжимается, обергруппенфюрер, – добавил Франц, тоже включаясь в игру (он заговорил, как в фильме). – Скоро убийца попадетсЯ в сети.

Пернинкен расхаживал перед Францем, по-прежнему стоявшим по стойке смирно.

– Усилия, потраченные на слежку, себя окупают, – уверенно заявил Бивен. – Преступник один, а нас сотни. Берлин в наших руках. Наша полиция организована лучше, чем где-либо в Европе. Ему от нас не уйти.

Пернинкен покачал головой.

– Кто-то из низов, – повторил он тихо. Он по-прежнему держал руки за спиной, и когда проходил перед Францем, тот мог заметить, как начальник нервно крутит пальцами. – Псих, выродок. Может, и не еврей, но порченная кровь, отродье. – Он устремил взгляд на Бивена. – Вы подготовили досье на всех, о ком шла речь?

– Уже делается. Кстати, на случай, если мы остановимся на версии безумца, я начал поиск по немецким психиатрическим клиникам.

– Почему бы и нет, правильно.

Начальник ответил машинально, но Бивен почувствовал, что мысль ему не понравилась. Для чистокровного нациста вроде него сам фАкт, что на немецкой территории еще остаются калеки, психи и душевнобольные, был невыносим.

– В конце концов, – заметил Бивен, – Германия уже сталкивалась с такого рода выродками.

В тридцать девятом году все в Берлине еще помнили имена серийных убийц, мелькавшие на первых страницах.

– Нет, гауптштурмфюрер, – неожиданно прервал его Пернинкен. – Вы говорите о том, что уже кануло в прошлое. Сегодня Германия под контролем. Даже мысль, что какой-то монстр может творить, что ему заблагорассудится, в самом центре рейха, совершенно недопустима. Мы сильная, совершенная нация. У нас нет права на ошибку. Следует разобраться с этой проблемой, пока она не взорвалась... в общественном пространстве.

На этот раз Франц щелкнул каблуками в знак полного согласия – за пятнадцать лет упорной добросовестной службы он все-таки обзавелся полезными инстинктами. Однако он продолжил, возможно опять ступая по лезвию.

– Еще одно, – рискнул он, – мне было бы безусловно полезно встретиться с полицейским офицером Максом Винером, который...

– Исключено. Я ведь вам уже объяснял, Бивен. В этом деле Винер оказался не на высоте. О нем следует забыть.

– Слушаюсь, обергруппенфюрер.

– Я даю вам три дня и ни одного больше, чтобы найти виновного. С надежными доказательствами его вины. И я не желаю больше ни единой жертвы, понятно? Не вынуждайте меня отстранять вас от расследования.

Франц владел языком гестапо. Перевод: *Не вынуждайте меня отправлять вас в концлагерь. Или ликвидировать.*

Разговор был окончен. Бивен отсалютовал вышестоящему офицеру, вскинув правую руку и так гаркнув «Хайль Гитлер!», что его было слышно за три кабинета. Он уже взялся за дверную ручку, когда Пернинкен снова заговорил:

– И последнее. Когда вы точно установите личность виновного, я требую, чтобы вы представили мне как можно более подробный рапорт.

– Разумеется.

– Я хочу сказать: до того, как вы его арестуете.

– Простите?

– Я хочу узнать, кто это, до его ареста, понятно? – Видя, что Бивен молчит, Пернинкен добавил: – В этом деле необходимо принять максимум мер предосторожности. Повторяю, вы и не представляете всей важности этого расследования. Рейхсфюрер СС Гиммлер не спускает с нас глаз!

С 1933 года гестапо размещалось в здании Школы декоративно-прикладного искусства на Принц-Альбрехтштрассе. Великолепные помещения; в главном холле шла анфилада сводов, достойная кафедрального собора. Лестница из тесаного камня, увенчанная перилами с балясинами в духе Ренессанса, вела на верхние этажи. Бывшие мастерские живописи и скульптуры отныне были отданы на откуп мелким старательным чиновникам, в чьи служебные обязанности входили доносы, пытки и смерть.

Шагая по коридорам третьего этажа, Бивен слышал за дверями перестук пишущих машинок. Контора трудилась вовсю, как любое обычное учреждение.

В рядах гестапо встречались разные типы: тупицы (много), садисты (меньше, чем можно было ожидать), ленивцы (большинство), а также немало чистосердечных служак. Эти нашли себе пастуха и с бляньем следовали за ним, образуя черное, тупое и опасное стадо.

Но у этих людей было нечто общее: они смаковали власть. Все они наслаждались, хватая невинного или просто требуя документы у прохожих. Еще несколько лет назад эти парни подыхали с голоду и пили из водосточных труб. Теперь они безраздельно царили. Они были хозяевами. И ради этого вполне можно было спустить в унитаз любые угрызения совести.

Бивен не был исключением из правила. Наоборот, как бывший головорез и ныне действующий убийца, он отлично себя чувствовал в доме 8 по Принц-Альбрехтштрассе. Здесь образовался отдельный мир, недоступный голосу человечности, жалости или сочувствия. Мир жестокости, где бандиты были лучшими учениками.

– У тебя еще в уголке губ осталось.

Бивен поднял голову: его заклятый враг Филип Грюнвальд стоял на пороге своего кабинета. Настоящий привратник с усами как у

кайзера, похожий на фехтовальщика или любителя французского бокса начала века.

– Что?

– Разве ты только что не отсосал Пернинкену?

– Да пошел ты.

Бивен прошел мимо придурка, чувствуя, что тот провожает его взглядом, как дулом «Маузера К98». В гестапо все были врагами. Этого требовала сама система: атмосфера всеобщей подозрительности распространялась и внутри их собственных стен. Каждый следил за коллегами, как и они за ним. Здесь царил дух соперничества и гнетущего недоверия.

Среди обычных врагов всегда находились один-два, которых следовало особенно опасаться. Так, целью жизни Грюнвальда, альтер эго Бивена, занимавшего соседний кабинет, было убрать конкурента. Он наверняка даже завидовал, что тому поручили это расследование. *Что за мудак.*

Разговор с Пернинкеном подтвердил его опасения. Это дело таило в себе опасность. Помимо убийств и личности жертв, было еще что-то, категорически не подлежащее обнародованию.

Бивен не был уверен, что ему достанет ловкости канатоходца для такого рода подвигов. Например, чтобы вычислить преступника, не имея представления о его мотивах. Или же составить портрет жертв, не возбудив подозрений у их ближайшего окружения.

Все это отдавало глубоко ему претившей изощренностью. Но он безусловно выполнит свою задачу. Он принесет Пернинкену имя убийцы на блюде, как принесли голову Иоанна Крестителя царю Ироду.

И все это было лишь проходным этапом, предварительной ступенью. В счет шло только последующее, его награда. Перевод в вермахт или в войска СС. Война, фронт, Франция...

Номер его кабинета был 56 – *он так и не понял почему*. Светлый паркет, лакированные картотеки, двухтумбовый письменный стол: комфорт бюрократа. Это помещение каждый день напоминало ему, что основная часть его работы – составлять отчеты, в чем он был не очень силен. Что до Динамо, с ним все проще: он был практически безграмотным. К счастью, у них имелся молодой секретарь Альфред, немного более продвинутый: на него и взвалили грязную бумажную работу.

Бивен уже собрался усесться за стол, когда услышал за перегородкой глухие звуки и взрывы смеха. Он тут же вышел и без стука открыл дверь в кабинет, который делили двое его подручных.

Динамо дурачился, изображая бег с корзиной для бумаг на голове и вытянув одну руку вперед, как слепой.

– Чем ты тут занимаешься?

Динамо не торопясь снял свой головной убор. Альфред, который изо всех сил старался выглядеть солидным членом команды, прыскал в кулак.

– Я рассказывал про чемпионат СА. Как я бежал стометровку в противогазе, из-за которого не видел дорожку.

Одна из его любимых баек. Спортивные соревнования СА: забег на скорость в противогазах, бросание гранат... Когда Хёлм начинал паясничать на эту тему, он всегда добавлял, что самым тяжелым испытанием был вечерний пивной конкурс.

– Думаешь, у нас больше дел нет? – оборвал его Бивен. – Ступай за мной. – Едва за ними закрылась дверь, он заметил: – Быстро же ты вернулся.

– Оставил других разбираться с этим дерьмом. Парни из «Шарите» приехали. Сейчас, наверно, вскрытие уже идет.

Динамо был не создан для кабинетной жизни. Его стихией были митинги, потасовки, облавы. Бить морды, а потом надираться пивом,

или в обратном порядке. Исторически Гюнтер Хёлм был из тех, кого называли «стейками», – из бывших большевиков, перебежавших во вражеский лагерь, в НСДАП. «Черный снаружи, красный внутри». На самом же деле у него вообще не было никаких политических убеждений. Лишь бы ему обеспечили пропитание, несколько добрых потасовок и гарантию, что у него будет навалом всего светленького (пива и женщин), а там и ладно.

– А поиск свидетелей?

– Я отправил парней все прошерстить, но, честно говоря, с какой стати кто-то попрется в эту парковую глухомань? Нет, меня другое удивляет: ведь наш убийца после такой резни должен был весь изгваздаться в крови. Как же он вернулся к себе? Переоделся на месте?

Бивен подумал о реке, протекающей совсем рядом. Первое убийство произошло на Музейном острове. Второе – в Кёльнском парке, в квартале от Шпрее. А теперь Тиргартен, несколько метров до берега... Может, наличие воды играло определенную роль в безумии убийцы – или же в его ритуале. Какой-то символ или еще что-то. А может, он просто скрывался вплавь...

Пока Бивен усаживался, Хёлм бросил ему на стол папку цвета крафтовой бумаги – цвета, прекрасно знакомого Бивену: он означал донесения, слежку, клеймо гестапо.

– Это что?

– Лени Лоренц, в девичестве Клинк. И вовсе не дитя из церковного хора, если понимаешь, что я имею в виду.

Бивен открыл папку, не слушая комментарии Динамо.

Оказывается, Лени была из бродяжек. Родилась в 1908 году в скромной семье в Рейнской области, в десять лет потеряла обоих родителей – туберкулез. Проведя три года в сиротском приюте недалеко от Кёльна, она сбегает в Берлин. Новый ее след обнаруживается в 1922 году в маленьких кабаре. В четырнадцать лет она принимает участие в эстрадных представлениях. В последующие годы ее неоднократно задерживают за приставание к

проходим, то есть за проституцию. Не оригинально. Тогда говорили: «Кило хлеба стоит миллион марок, а девушка – одну сигарету».

Куда удивительнее другое – ее брак в 1929-м с Вилли Беккером. Вот это имя было ему знакомо. Опасный тип, с которым он сталкивался во времена своего пребывания в *Unterwelt*. Сутенер-гомосексуал, полуартист, полумошенник. Вилли Педик, Вилли Содомит, Вилли Карп. Как Лени Лоренц умудрилась превратиться во фрау Беккер?

Они разводятся в 1934-м. Год спустя Лени выходит за Ганса Лоренца, самого богатого банкира Берлина. Бивен догадывался, что развод двух ночных бабочек произошел по взаимной договоренности, имевшей целью освободить место Лоренцу – столь блестящая партия два раза в жизни таким, как Лени, не подворачивается.

Поглощенный чтением, Франц не сразу обратил внимание, что Хёлм продолжает говорить.

– Ты меня слушаешь или нет?

– Извини. Так что ты сказал?

– Сказал, что из Вилли Беккера получится железный подозреваемый, надежней крупповской стали.

Покачав головой, Бивен отмел версию:

– Невозможно.

– А почему бы нет? Беккер отребье и...

– Не его стиль. Никогда он не станет пачкать руки, убивая женщину. На крайняк мужчину. И кстати, зачем бы ему это делать?

– Из ревности.

Бивен улыбнулся:

– Не думаю, что у Вилли и Лени были отношения такого рода.

– Может, она больше не хотела делиться баблом с бывшим сутенером.

Типичная для Динамо логическая ошибка. Бивен у Лени и Вилли под кроватью не сидел, но был уверен, что здесь не было связи

эксплуататор/эксплуатируемая. Они были партнерами – вот в чем разница.

– Предположим, это дело рук Вилли, – допустил он. – С чего ему тогда так зверствовать? И зачем убивать двух других?

Хёлм устроился на стуле напротив стола Бивена. На месте обвиняемых. Взял бутылочку чернил и начал перебрасывать ее из руки в руку.

– Может, их он и не убивал. Просто подражал почерку убийцы, когда приканчивал Лени.

– Никто не знает про эти убийства.

– Типы вроде Вилли в курсе всего.

– Ладно, – уступил Бивен. – Я допрошу его сегодня вечером. У него клуб для педиков на Ноллендорфплац.

– А я?

– А ты разузнаешь про двух Лени. Про фрау Беккер и фрау Лоренц. Ее прежние связи и теперешние.

– Это ж надо опросить кучу народу... И что мне им говорить?

– Полагаюсь на твое природное психологическое чутье. Но ни слова об убийстве.

Бивен встал и направился к двери.

– Куда ты идешь? – спросил Динамо.

– Сообщить о смерти супруги Гансу Лоренцу.

Хёлм от всей души рассмеялся:

– Иногда я задаюсь вопросом, понимаешь ли ты, в каком мире мы живем. Ты правда думаешь, что Лоренц еще не в курсе? Да как только тело опознали, первым делом его и предупредили. Все идет поверх твоей головы, Франц.

Бивен согласно кивнул. Наперекор всему и всем в нем еще сохранилась крестьянская наивность. Но ничего страшного: если ему нечего сообщить Лоренцу, то у Лоренца безусловно есть что рассказать ему...

Особняк четы Лоренц был расположен на возвышенности Тельтов, в районе Грюневальд. Большую часть этого округа занимал величественный лес, и лишь редкие островки жилищ возносили свои крыши среди моря зелени.

Вилла, построенная на вершине холма, нависала над озером. Вроде в стиле модерн (Бивен относил к «модерну» все, что отличалось от вкусов времен императора Вильгельма). Офицер СС не мог понять этих денежных мешков, которые предпочитали бункеры прекрасным домам с кучей завитушек. По его мнению, черепичные крыши, лепнина и скульптуры – вот что облагораживает фасад и внушает доверие.

Он нажал на звонок на воротах парка. Открыл кто-то из прислуги, пухленькая молодуха в черном платье и белом фартуке: как раз в его вкусе, но сейчас ему было не до этого. Она провела его по длинной, посыпанной гравием аллее. Вокруг виднелись все оттенки зеленого, от самых темных до светлых, от холодных до самых теплых.

Грубые бетонные стены, плоская, как плита, крыша, застекленные проемы, выглядевшие недостроенными: на его взгляд, вся конструкция была идеальным примером пресловутого *Entartete Kunst* – дегенеративного искусства.

Внутреннее убранство не имело ничего общего с модерном фасада. Чисто тевтонский дух, во здравие Вильгельма II. Комнаты не слишком большие, набитые безделушками одна замысловатее другой, красивые обои с золотыми и серебряными узорами. Вот это настоящий шик.

Горничная провела его в ближайший зал справа, наверняка гостиную или, скорее, столовую, которая в свою очередь вела в обширное пространство с красными кожаными креслами. Бивен

сделал всего пару шагов. Стоящий перед ним огромный стол черного дерева казался мокрым, так он блестел.

Справа на мраморной каминной доске возвышались позолоченные часы, чье тиканье напоминало звон крошечного треугольника. Повсюду переливался мейсенский фарфор, цветные стеклянные фигурки, резные подсвечники, а также коллекция пивных кружек с эмблемами знаменитых пивных.

Если бы у его матери были деньги, она наверняка именно так обставила бы свою ферму. В его голове никак не увязывался этот «колоритный» стиль и банкир Ганс Лоренц, несомненно рафинированный и образованный.

Наконец он заметил хозяина, сидящего против света на другом конце стола. Его легко было принять за еще одну фигурку среди прочих. Лицо, одежда, поза – все напоминало глиняную статуэтку из рождественского вертепа.

Пенсне. Усы. Крахмальный воротничок. Черный пиджак с жесткими лацканами. Бивен не мог разглядеть его башмаки, но готов был поспорить, что тот в гетрах. Он так и видел банкира за письменным столом – раздает советы, подписывает прошения о кредитах. Бювар, ведомости, таблицы, перьевая ручка. Все разложено по местам – вот только операции Лоренца были противозаконными.

Бивен представился, но никакой реакции не последовало. Господин Крахмальный Воротничок остался сидеть неподвижно, положив руки на стол.

Наконец он заговорил:

– Я знаю, почему вы здесь. Садитесь.

В добрый час. Ему не придется бормотать приличествующие выражения соболезнования, которые он, кстати, плохо себе представлял. Можно перейти сразу к делу.

Бивен выбрал стул со своей стороны стола и осторожно опустился. Ему казалось, что их разделяет лед катка.

С очевидной неловкостью он начал выпрашивать у маленького человечка, не было ли у Лени врагов.

– Вы шутите, – прервал его тот. – Учитывая ее образ жизни, Лени вряд ли представился случай вызвать чью-то ненависть.

Бивен кашлянул:

– А в прошлом?

Лоренц хмыкнул, будто курица кудахтнула.

– Я не вчера родился и прекрасно знаю, откуда взялась Лени. Злые языки сказали бы «из сточной канавы». Я выражусь благожелательнее: из кризиса двадцать третьего или двадцать девятого года, точнее не вспомню, что для банкира не слишком профессионально.

– Вы знаете, что она уже была замужем?

– Да, за Вилли Беккером.

– Она по-прежнему поддерживала с ним отношения?

– Думаю, да. Они остались друзьями.

Что ж, господин в пенсне был из снисходительных мужей.

– Она никогда не говорила вам о человеке, которого боится? Человеке из того... окружения.

– Я сказал, что она продолжала видеться с Вилли. Я не говорил, что она продолжала посещать ночной мир.

Лоренц изъяснялся короткими сухими фразами, словно хлопал выдвижным ящиком кассы.

Бивен позволил себе вернуться к прежней теме:

– Выйдя за вас замуж, Лени могла возбудить в ком-то ревность или зависть.

– Выйти замуж за старика вроде меня... – снова хмыкнул банкир. – Не уверен, что я такой уж завидный жених.

– Я имел в виду... материальный аспект.

– Я так и понял. Но Лени была так мила и умна, что умела найти подход к любому завистнику. Как бы сказать? Она их обезоруживала...

Бивен начал различать под этой застывшей маской признаки горя.

Попробуем действовать напрямую.

– А у вас есть враги?

– У банкира они всегда есть.

Однако нацистский банкир может раздавить их гестаповским сапогом, чуть было не заметил Бивен, но воздержался. Не та атмосфера.

– В чем заключается ваша деятельность?

– Бросьте, – улыбнулся Лоренц, – вы же наверняка навели справки.

– У вас ведь частный банк, так?

– Совершенно верно.

– И вы предоставляете займы в рамках программы расовой гигиены?

– Мы всегда предоставляли займы, такова роль банкиров, но, поскольку сегодняшнее положение дел таково, каково оно есть, основная часть нашей деятельности сосредоточена на этом типе выкупов компаний и недвижимости.

– То есть вы спекулируете на конфискациях и экспроприациях?

– Да, можно и так сказать.

– Вы не думаете, что могли нажить себе врагов, занимаясь подобной деятельностью? Например, тех, кто лишился всего, отчаявшихся, решивших отомстить...

Лоренц пожал плечами: первое заметное движение с самого начала разговора.

– Называя вещи своими именами, такими врагами могли бы стать евреи, чью собственность мы скупаем за гроши. Но, честно говоря, я плохо представляю себе еврея в сегодняшнем Берлине, который смог бы приблизиться к Лени Лоренц. И уж тем более завлечь ее в ловушку.

Франц был согласен – они снова упирались в прежний вывод: убийца был знаком с жертвой. Он принадлежал к тому же кругу. *Не еврей.*

– Вы занимаете какой-нибудь... ответственный политический пост, герр Лоренц?

– Вы хотите сказать, в партии? Вовсе нет. Вы думаете о покушении? Учитывая, в каком виде нашли Лени, мне кажется, эту версию можно исключить.

– Вы видели тело?

– Да, в Тиргартене.

Ганс Лоренц занимал в нацистском созвездии особое место. Он дергал за ниточки биржи – ну, по крайней мере одну из бирж. Хёлм оказался прав: банкира известили первым. Он даже приехал посмотреть на труп супруги – раньше, чем был вызван Бивен. В Третьем рейхе все определялось раскладом влияний. Мундиры служили лишь для парада.

– В любом случае, – продолжил банкир, – мне думается, на сегодняшний день в Берлине осталось не так много террористов. Вы согласны?

За произнесенными словами Бивен уловил посланный сигнал. Такого рода высказывания подразумевали единственно возможный ответ.

– Мы работаем не покладая рук, – сказал он, стараясь, чтобы в голосе не сквозила ирония.

– Замечу, что во главе партии стоят сотни людей куда более значительных, чем я. Если бы удар решили нанести по рейху, выбрали бы другую мишень. Или нацелились непосредственно на меня.

Выброси из головы эту дерьмовую версию политического убийства.

Он предпочел вернуться на твердую почву:

– Вы знаете, как у вашей жены складывался вчерашний день?

– Думаю, она обедала с подругами в «Бауэрнхофе».

«Бауэрнхоф» был шикарным рестораном, куда Бивен ни разу не совал нос.

– А потом?

– Она должна была отправиться в отель «Адлон». Как мне кажется, вы в курсе, что Лени состояла в клубе, верно?

Бивен кивком подтвердил.

– Убийства... – заговорил он. – Я хочу сказать, убийство...

Промашка вышла. Даже с мужем было запрещено говорить об остальных преступлениях.

– Я уже все знаю. – Под усами проскользнула улыбка. – Гиммлер мне все лично объяснил, – тихо проговорил он.

В сущности, это ничего не меняло в ходе допроса.

– Лени когда-нибудь говорила с вами о Мраморном человеке?

– О Мраморном человеке? О статуе, вы хотите сказать?

– Я не знаю. Его упоминала другая жертва.

– Нет... Никогда. Это одна из ваших зацепок?

Бивен уклонился от ответа. В любом случае он уже закончил. И ничего не узнал, не считая того, что господин Крахмальный Воротничок не склонен выставлять свой траур напоказ.

– Могу ли я взглянуть на вашу спальню?

– Вы хотите сказать, на спальню Лени? У нас были отдельные.

Франц скрыл свое удивление. Он не понимал, как супруги, женатые меньше четырех лет, могли не иметь общего супружеского ложа, как контракт между мужчиной, внесшим деньги, и женщиной, внесшей красоту, мог не обретать каждую ночь материальную форму, как мужчина, который вроде бы любил (и понимал) свою жену, не желал разделить с ней высшую близость, близость снов и отдыха.

– Не стоит напускать на себя такой шокированный вид, – заметил Лоренц. – У всех отдельные спальни. По крайней мере, в голове. В конечном счете сон – это самая личная вещь, какая только может быть. Неотъемлемое благо.

Одним движением он снял пенсне. Его глаза словно сузились, и все лицо вполтину уменьшилось. Обнаженные черты теперь не могли скрыть его горе и печаль.

– С определенного возраста, – продолжил банкир, – брак основывается на негласном уговоре. Каждая сторона видит, что другая может ей дать, и решает, имеет ли такой союз смысл, да или нет. Я принес Лени богатство, защиту, комфортабельную жизнь. Она принесла мне красоту, молодость, юмор – знаете, Лени была очень веселой, очень забавной.

Бивен, который больше не боялся выставить себя простаком, спросил:

– Но... вы любили ее?

– Гауптштурмфюрер, вы зря питаете иллюзии. В нацистской Германии нет больше места любви. Вы ведь из гестапо, верно?

– Именно.

– Кому, как не вам, знать, что Германия больше не страна в привычном смысле этого слова. Это военная машина, отлаженный механизм, который будет неотступно двигаться вперед до самой своей гибели. Даже удивительно, что такие... скажем, неуравновешенные умы, как Гитлер или Геринг, сумели создать столь эффективную систему шестеренок.

Бивен был никак не готов к подобному разговору. Он отправлял в концлагерь и за меньшее. Господин в пенсне был действительно странным созданием, под личиной чиновника скрывался философ.

Заодно Бивен понял, почему Лени вышла замуж за этого человечка. Он разрешил квадратуру круга: богат, как нацист, умен, как политзаключенный. Вот уж редкая птица.

– Спальня Лени на втором этаже, сразу справа от лестницы.

Франц поднялся, стараясь не скрипеть кожей обмундирования. Не так-то просто.

Он уже направлялся к двери, когда Лоренц его окликнул:

– Гауптштурмфюрер...

Бивен обернулся. Тот уже нацепил свое пенсне, но стекла были влажными.

– Найдите его, *пожалуйста*. Найдите этого мерзавца и примените к нему, на сей раз с полным основанием, ваши пресловутые методы.

Зайдя в спальню Лени, Бивен понял, что именно она обставляла весь дом. Фигурки из цветного стекла, пивные кружки, салфетки – все это она. Старый банкир когда-то выстроил себе особняк, наверняка пригласив архитектора, у которого голова была забита новомодными идеями, а потом уступил обожаемой Лени, позволив жене изничтожить его эстетскую мечту своими дешевыми безделушками и выставкой поделок, как в магазине сувениров.

Спальня напоминала бонбоньерку, забитую сиреневыми пастилками. Потаскушка, которая, конечно же, познала изнанку жизни во всех ее проявлениях, в душе все равно оставалась маленькой провинциалкой с сердцем, похожим на розовую бархатную подушечку.

Хрустальная люстра, кровать под балдахином с пышными занавесями и фестонами, обои в лиловую полоску, лампы под абажурами цвета фуксии – все напоминало волшебную сказку для секретарш. И, словно этого было мало, в спальне было просто не продохнуть от тяжелого аромата жимолости.

Глядя на ее спальню, где плохой вкус бил все рекорды, Франц Бивен почувствовал, как у него от волнения сжимается горло. При виде этого любовного гнездышка поневоле всплывали картины Тиргартена: женщина, лежащая в липких лужах свернувшейся крови с разверстым, как мешок, животом.

При мысли, что придется рыться в этом шелковом коконе, гестаповец почувствовал прилив стыдливости, робкого смущения. И все же натянул кожаные перчатки.

Сначала он осмотрелся. На стенах Лени развесила афиши. Ревю тех кабаре, где она, наверно, исполняла маленькие роли. На комоды стояли фотографии. Лени в летнем платье. Лени в соломенной шляпе, сидящая в лодке. Хохочущая Лени в лыжном костюме,

наверняка где-нибудь в Гармиш-Партенкирхене или в Шварцвальде...

Похоже, она очень любила себя, и Францу пришлось признать, что было за что. Он затруднился бы определить, чем именно так брала за живое ее красота, но взгляд, линия бровей и сияние обрамленных ресницами зрачков точно стояли во главе списка. Остальное естественным образом соответствовало: идеальный носик, прелестный рот... Он узнал испачканное лицо из Тиргартена – даже мертвая Лени оставалась красивой.

Бивен открыл ящики комода. Забитые шелковым бельем, воздушными кружевами, вещами, в которых он даже не мог отличить верх от низа и изнанку от лицевой стороны. И все же он запустил руку в белье – ощущение, будто окунулся в бассейн с розовыми и серебристыми карпами, живыми и неуловимыми.

Он не нашел ничего.

В шкафу тоже ничего. Он проверил все закутки, перетряс каждый предмет, не пропустил ни одного глухого уголка. Голяк. Отправился в ванную. Мраморные перегородки, фарфоровые раковины и ванна, мозаичный пол... Все в модном стиле, то ли ар-нуво, то ли ар-деко, он их в упор не различал.

Его интересовали не эти изыски, а нечто иное: заглянуть за облицовку, простучать кафель, пошарить пальцами за массивной печью. Подход скорее сантехника, чем архитектора, рабочего, а не декоратора. И по-прежнему нулевой результат.

Он вернулся в спальню и глянул на себя в зеркало на туалетном столике. Весь красный и в поту. Он так и не снял китель и теперь подышал от жары в этой слишком надушенной комнате. Скотина в нежном мирке...

Только сейчас он заметил у окна маленький камин, полуприкрытый занавесками. Подошел ближе: как обычно летом, очаг был закрыт чугунной дверцей. Он опустился на колени и попробовал ее сдвинуть.

Та легко поддавалась: очевидно, ее нередко открывали. Ноздрей коснулся запах холодной сажи. Под решеткой для поленьев среди пепла он заметил что-то цветное, выделявшееся на фоне серого шлака. Сначала он подумал, что Лени впопыхах сожгла какой-то предмет, но тот не до конца сгорел.

Он ошибся. Это была коробка из-под шоколадных конфет от Эриха Хаманна, из знаменитой кондитерской на Курфюрстенштрассе. Бивен осторожно вытащил жестяную шкатулку, подул на нее и с еще большей осторожностью открыл.

Там лежали письма и фотографии.

На снимках была Лени в самом простом наряде – сценическом, то есть с перьями на голове и в чулках, доходящих до середины бедер, или же без затей – очень голая, очень белая, словно подносящая себя, как на блюде, на своей королевской постели.

Бивен вынужден был признать, что фигура соответствовала лицу: совершенная, шокирующая, истинный вызов для простого смертного.

Он полистал письма, которые – удивительно! – не были любовными. Все написаны Вилли Беккером, и их тон свидетельствовал скорее о прекрасной искренней дружбе.

Стриптизерша Лени и петушок Вилли никогда не были парой в супружеском смысле этого слова. Зато они были сообщниками, и это сквозило в каждой строчке. Там еще были колонки цифр и запутанные расчеты. Он прочтет все это на свежую голову, потому что сейчас не мог разобраться, кто кому был должен деньги и в каком направлении перемещалась наличность.

Франц сунул письма в карман и после некоторого колебания решил присоединить к ним и фотографии. Прежде чем они исчезли у него за пазухой, он еще раз просмотрел их и заметил одну, на которую в первый раз не обратил внимания.

Ну надо же...

Лени, по-прежнему в костюме Евы, но на этот раз не одна. Ее любовник, тоже голый, лежал рядом с ней (они поставили

фотоаппарат на автоспуск с задержкой), нацепив лорнет мужа, а смеющаяся Лени водрузила на голову мужской котелок.

Бивен без труда узнал Симона Крауса и место, где был сделан снимок: лиловая комната, в которой он на данный момент находился.

Значит, эти два гаденыша трахались днем в особняке Лоренца, пока банкир, такой же простофиля, как все рогоносцы, вкалывал в конторе, чтобы принести в клювике деньги для мадам.

Едкий выплеск ненависти обжег ему горло. Этот гномик, разыгрывающий из себя крутышку, злил его все больше и больше. Самое что ни на есть гнилье, лишенное всякого чувства уважения. Может, и блестящий специалист (как говорила Минна), но продажный вырожденец и полное ничтожество.

И в то же время он испытал удовлетворение. Теперь этот мелкий поганец отлично вписывался в картину.

– Погоди, засранец, – пробормотал Бивен, – скажу я тебе пару ласковых...

Вскрытие – это момент голой истины. Ни одежды, ни крови, ни мертвой листвы, ничего, что скрывало бы чудовищные увечья и зияющие раны. Черно-белая ясность. Холодная прямолинейность скотобойни.

В лежащей на столе амфитеатра Лени Лоренц не осталось ничего человеческого. В ней больше не было ни крупницы чего-то интимного или загадочного. Отныне она стала куском органики, словно вырубленным в карьере из замороженной плоти. Четкой и точной формой. Минеральной.

Франц в аутопсии не разбирался. Вообще-то, если он и являлся в морг госпиталя «Шарите», то чтобы прикрыть убийство, совершенное одним из его людей. Он ничего не понимал в медицинском жаргоне, и его это совершенно не интересовало.

Он даже ни разу не был в этом овальном зале, одну часть которого занимали поднимающиеся вверх ступенчатые скамьи, а другую – оконные проемы, выходившие в больничный сад или, скорее уж, в плотные заросли кустов и близко посаженных деревьев, закрывающих весь обзор. Несомненно, в этом амфитеатре студенты слушали профессорские лекции. Что здесь делало тело Лени? Или труп станет предметом отдельного урока? Быть такого не может. Данное тело являлось государственным секретом. Останки, которые под властной пятой Третьего рейха просто не существовали.

Первой бросившейся ему в глаза раной была та, которая перерезала горло от уха до уха. Она была промыта, вычищена и теперь представляла собой странный рифленый обвод (как улыбка огородных чучел, которых мастерил отец, когда Франц был совсем мальчишкой).

Ниже от бедра к бедру шла еще одна рана минимум тридцать сантиметров шириной. Обвисшая кожа живота позволяла предположить, что теперь под ней мало что осталось.

И наконец, около двадцати ран на грудной клетке и руках. Бивен не разглядел их под платьем, потому что они были нанесены *post mortem*^[61] и не кровоточили. Теперь же они походили на больших черных пиявок. От горла до живота все тело Лени было покрыто пятнами, как шкура рыси.

Бивен почувствовал, что это явный перебор. Хоть он и знал толк в убийствах, пытках и увечьях, но он был уличным убийцей, бандитом в силу общественной необходимости. Тем или иным образом он всегда находил в глубине души оправдание своей жестокости.

– Впечатляет, верно?

Нескладный в своем белом халате, Вальтер Кёниг, казалось, был доволен этим трупом, как скульптор своим новым творением. Он возглавлял *Institut für Rechtsmedizin* госпиталя «Шарите», то есть возглавлял службу судебной медицины. По крайней мере, так значилось черными тисненными буквами на его визитной карточке.

В действительности его работа лежала в иной плоскости.

Даже мертвый, человек еще может многое рассказать. И в обязанности Вальтера Кёнига входило заставить его замолчать. Находясь практически на содержании гестапо, он получал мзду за то, что писал свои отчеты под диктовку тайной полиции.

За несколько сотен марок медик забывал о клятве Гиппократата и превращал человека в домашнем халате, приконченного двумя пулями в затылок, в преступника, «убитого при попытке к бегству», или же человека со следами пыток, на теле которого еще оставались отметины от раскаленного утюга, в «утонувшего в результате несчастного случая».

Скорой помощью в «Шарите» на самом деле была служба, выдававшая разрешение на захоронение. Едва отчет был подписан, крышку гроба торопливо заколачивали – а еще лучше, если предполагалась кремация.

Главный чистильщик Вальтер Кёниг был человеком любезным и симпатичным. Всегда пошутит, осведомится о вашем здоровье и о

семье – и ни намека на его мрачное ремесло чиновника похоронных дел.

Он начал излагать факты, словно читал лекцию; у него была маленькая птичья голова на длинной изогнутой шее.

– Причиной смерти явилась рана на горле. Убийца напал на жертву сзади, схватил ее за волосы (он был выше ростом) и запрокинул ей голову. Он рассек гортань и трахею, перерезав шею, – так обычно забивают скот. – Кёниг подошел к труп. – Что касается области таза, он сначала срезал большой кусок кожи, потом погрузил руки в полость...

Двумя пальцами в перчатках он приподнял плоть живота. Бивен отвел глаза, но успел заметить фиолетовые мускулы, почерневшие волокна и бледные кости. Даже неопит понял бы, что убийца в прямом смысле слова «опустошил» рану.

– Он извлек целиком репродуктивные органы, но также печень, часть кишечника и желудок...

– Он профессионал? Я хочу сказать: медик?

– Или мясник. Или охотник. Он знаком с анатомией млекопитающих. По способу нанесения разреза...

– Почему он это делает?

Вопрос вырвался у Бивена невольно.

– Представления не имею. – Кёниг наставил на Бивена окровавленный указательный палец. – Это твоя работа. В конце концов, именно этим вы отчасти и занимаетесь в гестапо – психологией.

Бивен не отреагировал на сарказм.

– Что ты можешь сказать об орудии убийства?

Медик принялся расхаживать у тела, как совершающий обход часовой.

– Тонкое лезвие. Тридцать сантиметров длиной, девять шириной. Наш убийца правша.

– Оружие всякий раз одно и то же?

– Без сомнения.

– Можешь описать тип ножа?

– Могу сделать куда лучше. Ты позволишь?

Протянув руку над трупом, он взялся за рукоять кинжала, висящего на поясе Бивена. Эсэсовец не успел ему помешать.

Едва вытащив кинжал, судмедэксперт омерзительным жестом погрузил его в одну из ран на груди. Лезвие вошло так гладко, что Бивену привиделась мурена, скользящая в свою каменную нору.

– Это еще что за...

Кёниг вытащил кинжал и вернул его Бивену рукоятью вперед. Нацист устремился к раковине, чтобы ополоснуть оружие. Он был весь в поту и в полной растерянности. Даже плеснул холодной водой в лицо.

– Твое лезвие идеально соответствует глубине и форме раны, – продолжил Кёниг, когда Бивен вернулся к нему. – Есть нечто еще более поразительное. Посмотри сюда...

Согнувшись пополам над трупом, медик пригласил Бивена последовать его примеру.

– Ты можешь заметить, что в каждой ране с одной и с другой стороны есть две маленькие вертикальные отметины, перпендикулярные разрезу.

Любой, кто видел вблизи эсэсовский кинжал, знал, что на внутренней стороне гарды по обеим сторонам лезвия нанесены две зарубки. Кстати, Бивен никогда не понимал, для чего они предназначены.

подавив отвращение, он тоже наклонился. Бесспорно, на каждой ране Лени имелись эти отметины: две справа, две слева.

Эсэсовский кортик в качестве оружия убийства – это серьезно. Бивен до сих пор помнил ритуал посвящения в члены СС, когда он получил свой кинжал. Тогда при свете факелов он принес клятву: «Клянусь тебе, Адольф Гитлер, фюрер и канцлер рейха, быть верным и мужественным. Торжественно клянусь беспрекословно повиноваться тебе и назначенным тобой начальникам вплоть до самой смерти. Да поможет мне Бог!»

– Когда я делал вскрытие первого тела, – продолжил Кёниг, – я еще не был уверен. И, честно говоря, не испытывал ни малейшего желания увериться в своей правоте... Но когда сюда доставили Маргарет Польш, я провел практическое тестирование. Сомнений не оставалось. Ширина и длина лезвия, четыре отметины вокруг раны доказывали, что убийца этих женщин использовал эсэсовский кинжал.

Невозможно представить, чтобы у офицера СС украли кинжал или же он его потерял. Это не просто оружие, это... литургический предмет. «Сие есть тело мое, сие есть кровь моя».

- Я уже говорил об этом Винеру.
- После первого убийства?
- Нет, после вскрытия Маргарет Польш.
- Я ничего такого в твоём отчете не читал.

Кёниг рассмеялся:

– Не строй из себя идиота, Бивен. Это не та информация, которую разглашают, тем более письменно. Кстати, я и Винеру посоветовал быть осторожнее. По-моему, он не прислушался к моему совету, потому что в один прекрасный день исчез.

- Ты сфотографировал эти раны?
- Нет еще.

– Сделай немедленно и передай мне снимки в запечатанном конверте. Как только будет готово, предупреди Динамо.

Несмотря на холод в помещении, Бивен истекал потом в своем мундире. Убийца из СС. *Срань господня*. Тут тебя или повесят, или закопают. Все зависит от того, как подать информацию.

- Твой отчет мне нужен как можно скорее. И никому ни слова.
- Ты имеешь в виду про кинжал?
- Про все. Никто не должен знать, что Лени Лоренц убита.
- У меня были те же указания относительно двух других.

Бивен снял перчатку, порылся в кармане, достал пачку марок и засунул ее в нагрудный карман халата Кёнига.

- Что ж, и дальше держи рот на замке – останешься в живых.

Шагнув в больничный парк, Бивен глубоко вдохнул запах лип и каштанов, который, казалось, томно струился из всех уголков центрального двора.

Убийца из СС.

Эти слова не шли у него из головы. Добрый совет, которым он одарил Кёнига, в неменьшей степени относился к нему самому. Это открытие следовало держать за семью печатями до тех пор, пока он не будет уверен, что сумеет совладать с последствиями.

Он выбрал скамейку и уселся, внимательно оглядевшись вокруг: в саду ни души. Еще раз вдохнул насыщенный ароматами воздух и посмотрел на здания комплекса «Шарите». Крепость из красного кирпича с башенками и зубцами обманчиво напоминала старинные фламандские постройки с их узорной кладкой. Он вспомнил, что ее возвели в XVIII веке для защиты от чумы...

В голове всплыли слова Пернинкена: «Когда вы точно установите личность виновного, я требую, чтобы вы представили мне как можно более подробный рапорт... Я хочу узнать, кто это, до его ареста».

Обергруппенфюрер уже знал, что убийца принадлежит к СС. Это Пернинкен утаил выводы Кёнига относительно Маргарет Поль. И он же ликвидировал Макса Винера. Он не знал, кто убийца, но подобная информация априори становилась табу. Вот почему привлекли гестапо: можно было положиться на то, что там сохранят секретность. А также на то, что гестапо представит дело в нужном свете, *post mortem*.

Тот, кто раскроет личность убийцы, может быть уверен: его уберут. У черного ордена не было иных методов сохранения тайны.

Но Бивен их перехитрит. Во-первых, потому, что хорошо знает систему. А еще потому, что он больше пятнадцати лет принимал участие в грязных делах СА и СС. Он сумеет правильно обойтись с этим смертельно ядовитым материалом.

Подведем итоги...

Убийца – наверняка высокопоставленный тип – выбирал этих женщин на каком-нибудь ужине, вечеринке или даже на одном из собраний их клуба в отеле «Адлон». И убирал одну за другой. Пользуясь своим положением и званием, он завоевывал доверие жертвы и заманивал ее в ловушку...

Слишком рано строить догадки о его побудительных причинах – у Бивена на это не хватало воображения, но отныне у него была конкретная зацепка: орудие преступления или, по крайней мере, его разновидность.

Благодаря этому он сумеет добраться до владельца...

В конечном счете новая информация была не проблемой, а решением. Когда он увидел, как кинжал погружается в черную рану, то сразу же понял, что этот образ полностью соответствует его собственному положению – улика, которая подходит ему, как перчатка, а искомый виновник ему поможет.

Прежде всего, вычислить преступника и держать это в тайне. Никаких арестов, никаких отчетов, ничего. Потом со всей осторожностью шепнуть имя убийцы на ухо Пернинкену и в качестве премии получить право уладить это дело как можно деликатнее.

Что останется? Только незаметно убрать виновного... Бивен мог взять это на себя, и он уже знал, как будет действовать. Предложит заняться преступником лично – и закроет, можно сказать, дело в одиночку.

Он зажмурился и потянулся на скамье.

Может, так ему наконец удастся выбраться из этой западни.

Уютно устроившись в своей любимой тачке, Минна фон Хассель видела жизнь в розовом свете. Таков был цвет сумерек на сухих землях вокруг Брангбо (она выкатила свое импровизированное кресло за пределы ограды) и цвет коньяка, который она потягивала вот уже больше часа.

Немного похолодало, и Минна завернулась в шотландский плед. Волшебный час. Час передышки. Пациенты поужинали, скоро заснут. Безумие тоже немного отступило. И право слово, день был не такой уж ужасный...

Во всяком случае, не больше обычного.

Она чуть не охрипла, убаюывая приехавших к больным растерянных родственников: война приближается, скоро посыплются бомбы, что будет с пациентами? Что до Ганса Нойманна, он оправлялся от укусов и дожидался в своей камере, пока вылупятся комариные яйца. «Змеиный ров» тоже вел себя более-менее спокойно. А отец Бивена желал непременно видеть сына, чтобы в очередной раз изложить свою историю про газ в трубах. Короче, рутина...

Минна была довольна еще и тем, что прибыли новые партии морфина и снотворных. Истинное чудо. А еще тем, что кое-кто из местных крестьян решил продать ей плоды нынешнего урожая. Может, ей и удастся наладить работу Брангбо как нормальной клиники...

Сейчас она сидела здесь, и ей было хорошо; ноздри заполнял запах земли и скошенной травы, она смотрела на свежесжатые поля с их черной землей, усеянной снопами соломы. Конечно, сквозь бойницы в крепостной стене и решетку ворот ее разглядывали несколько больных, отпуская сальные шутки или бормоча что-то непонятное, но к этому она привыкла: это была часть повседневной жизни. Они оставались ее пациентами, ее детьми, ее опорой.

Внезапно одна деталь нарушила благостность момента: на горизонте клубилось облако пыли. Или приближающийся дилижанс, или орда кровожадных шайеннов^[62]. Очень вовремя: на Минне все еще была ее ковбойская куртка.

Клубы дыма принимали все более отчетливые очертания. Она вылезла из тачки, спрятав бутылку коньяка в складках пледа. Сложив руку козырьком, она вглядывалась в даль, ожидая, что же вынырнет из облака.

С удивлением увидела мотоцикл с коляской, «БМВ R12», военная модель, уже не первой молодости. Сначала она запаниковала: нагрянуло гестапо. Но, вглядевшись получше, поняла, что ни на водителе, ни на пассажире нет военных касок. Наконец они оказались в нескольких десятках метров, надвигаясь в грохоте мотора и дыме.

Один выключил двигатель, другой с трудом выкарабкался из коляски мотоцикла. Это был коренастый человек, ростом не более метра шестидесяти пяти. Он снял мотоциклетные очки и кожаный шлем. Как и на водителе, на нем был длинный черный плащ, что явно не предвещало ничего хорошего, – один из любимых прикидов гестапо.

Пока опадала пыль, человек стянул свою кожаную сбрую, сложил ее и запихал поглубже на пассажирское сиденье. На нем был военный китель, не сходявшийся на животе, брюки для верховой езды и побелевшие от пыли сапоги. Он осторожно нацепил маленькие очки с диоптриями и направился к ней.

Мужчина шагал как бычок – косолапя, ссутулившись и опустив голову, словно тащил ярмо. Лет пятидесяти, с животиком, наетым свининкой с капустой, он был рыжим и выглядел непробиваемо жизнерадостным.

В своих круглых, как стеклянные пузырьки, очочках он напоминал персонаж детских книжек. Морковного цвета веселая пухлощекая физиономия, обрамленная широкими бакенбардами, а посередине

– шишковатый нос, заканчивающийся забавной бульбочкой более темного, почти фиолетового цвета.

Он замахал ей, будто они были хорошо знакомы, и расплылся в улыбке от уха до уха:

– Фройляйн фон Хассель!

Она двинулась вперед нетвердым шагом – с коньяком она явно переборщила.

– Это я.

Он выбрал крепкое долгое рукопожатие, странный жест для военного, пусть даже расхристанного. По нынешним временам обычно приветствовали, вскидывая руку так, что едва не выворачивали плечо.

– Я профессор Эрнст Менгерхаузен.

– Чем могу быть полезна?

Ее вялая рука была зажата в лапе зверя. Теперь этот тип стоял всего в нескольких сантиметрах от нее. За стеклами очков его черные быстрые глазки напоминали арбузные зернышки.

– Я руковожу комиссией по гигиене и этике госпиталей рейха.

– Я не знаю, что это за комиссия.

Мужчина отступил и, подобно Минне за минуту до этого, сложил ладонь козырьком, словно чтобы лучше разглядеть ту грудку развалин, которую она упорно именовала «институтом».

– Нам поручили проверить санитарные условия в госпиталях Бранденбурга.

– Вы... психиатр?

– Вовсе нет, – прыснул он. – Гинеколог и акушер!

– Не вижу связи с...

– Все очень просто. Мы начали с акушерских служб в государственных больницах и частных роддомах. Теперь власти рейха доверили нам инспекцию других заведений.

Минна совершенно протрезвела. Она всегда страшилась подобных визитов. Было немыслимо, чтобы ей позволили делать в этой дыре все, что она пожелает. Они закроют Брангбо.

Рефлекторно она бросила взгляд на водителя мотоцикла, который курил, прислонившись к своему агрегату. Настоящий амбал, вроде телохранителя, но с интеллигентным лицом, в прозрачных очках и с аккуратно зачесанной набок прядью. Оба гостя были странными.

– Вы... вы хотите войти?

– Благодарю вас, нет. Полученные нами отчеты вполне исчерпывающи.

– Отчеты?

– В основном от родственников душевнобольных.

Минна сдержала ругательство: ее, которая из кожи вон лезла, чтобы обеспечить пациентам достойное существование, и каждый день принимала хнычущих родственников, в качестве благодарности заложили, как вульгарную торговку сигаретами на черном рынке.

Менгерхаузен по-прежнему улыбался. Его густая шевелюра и внушительные бакенбарды пенились вокруг его физиономии, как светлое пиво.

– Не стоит разочаровываться в людях, – самым добродушным тоном утешил ее он. – Родственники всегда неблагодарны. Они никогда не видят, что стакан наполовину пуст.

В ее случае стакан давным-давно разбился, и этот человек прибыл объявить ей, что у нее осталось несколько дней, чтобы подмести осколки.

– Я привез вам фотографии, – добавил он, доставая из-под мышки пыльный портфель.

Сначала он тщательно отряхнул клапан, потом подул. По мере того как проступал натуральный цвет кожи, Минна поразились его сходству с шевелюрой прибывшего. *Маленький кожаный человечек.*

Он запустил руку внутрь и вытащил из портфеля пачку снимков. На них было величественное здание в барочном стиле где-то в пустынной сельской местности.

– Замок Графенек! – пояснил он. – Недалеко от Гомадингена, в Верхней Швабии.

– И что? – холодно поинтересовалась она.

– Меня к вам послало само Провидение, Минна. Я ведь могу вас так называть, правда? Вначале замок использовался как центр приема инвалидов, но мы его целиком перестроили, чтобы он мог принять новых пациентов.

– Каких именно пациентов?

Менгерхаузен подбородком указал на обветшалую стену, все проемы которой были словно украшены живыми гаргульями – сумасшедшими, которые тянули шею, пытаясь разглядеть через решетки, что происходит.

– Душевнобольных!

Минна не ответила. У нее кружилась голова. Она чувствовала, как внутри разливается тоска, мало-помалу пропитывая ее целиком. Этот человек был посланцем смерти.

– Я решил все-таки принять ваше приглашение.

– Мое приглашение?

– Войдем внутрь.

Он властным движением забрал у нее снимки и направился к стене. Минна двинулась следом. Она надеялась, что большинство пациентов уже в кроватях и огород не будет, как обычно, выглядеть будто Двор Чудес^[63]. Увы, многие больные были еще там и бродили между плохо подстриженными кустами и заброшенными растениями.

Менгерхаузен их будто не видел. Он нацелился на садовый стол из белого крашеного металла, чьи покосившиеся ножки наполовину зарылись в рыхлую землю. Опустился на металлический стул. Минна последовала его примеру.

– Хотите кофе или еще чего-нибудь? – неуверенно предложила она.

– Благодарю вас, все хорошо.

Он уже разложил фотографии перед собой на столе. Краем глаза Минна заметила двух больных, разгуливающих с голым торсом.

– Мы ждем поступления новых халатов, – осторожно пояснила она.

Но Менгерхаузена это вроде бы совершенно не интересовало. То, что Брангбо представлял собой отвратительную клоаку, годную разве что для содержания животных, было само собой разумеющимся фактом. Этот мрачный фарс уже принадлежал прошлому. А он приехал поговорить о будущем.

– Я привез вам список, – подтвердил он, доставая из портфеля скрепленные листы.

Двумя пальцами она взяла у него документ и глянула, тут же узнав несколько имен.

– В ближайшее время мы организуем переброску первой партии. Через несколько дней мы придем за этими больными специально оборудованные для таких целей автобусы.

– Вы перевезете их в... – она ткнула пальцем в лежащие на столе снимки, – этот ваш замок?

– Именно. Мы живем сейчас в особенное время, Минна, это ни для кого не секрет. Если война будет объявлена, нам придется принять меры к защите наших пациентов. Таков наш врачебный долг. Вы же не забыли, надеюсь, клятву Гиппократата!

Вся сцена была на грани гротеска. Нацистского гротеска, где каждое слово означало нечто прямо противоположное, а любой жест и мимика были достойны великого комика, вот только сюжет спектакля оставался всегда неизменным: смерть.

– Им будет намного лучше в Графенеке. Посмотрите. Комфортабельные палаты. Отличные ванны. Улыбающиеся медсестры. И не забудьте про здоровую и вкусную пищу!

– Вы их убьете?

Слова вырвались сами собой. В памяти всплыли худшие слухи. Нацисты ненавидели душевнобольных. С их точки зрения, существовало единственное решение этой проблемы, и решение кардинальное.

Менгерхаузен изобразил искреннее удивление – отработанное выражение лица: высоко вздетые, как мостики, брови и рот, будто произносящий звук «о». Потом от души расхохотался, покачивая головой с таким видом, словно хотел сказать: «Ну и ну, такого я еще не слышал».

Похлопав по карманам жилета, он извлек длинную пожелтевшую костяную трубку и кисет, потом терпеливыми мягкими движениями принялся ее набивать.

– Вы курите?

– Иногда.

– А не следовало бы. – Он раскурил трубку, выпуская тяжелые клубы дыма, затем бодро продолжил: – Что вы себе напридумали, фройляйн фон Хассель? Просто невероятно, какие мысли крутятся в вашей хорошенькой головке.

Казалось, от первых затяжек табака его лицо приобрело еще более морковный оттенок. Пару секунд он разглядывал свою трубку, зажатую в младенчески пухлых пальцах.

– Красивая вещица, верно? – Он наставил черные зрачки на Минну. – Я сам ее вырезал из берцовой кости французского солдата. Надо же было чем-то занять себя в траншеях между двумя атаками...

Минна онемела, не зная, что сказать. Этот человек производил эффект быстродействующего яда. С каждой секундой его токсичность возрастала.

Он снова прыснул и хлопнул себя по ляжке в знак искреннего веселья:

– Я шучу, конечно.

Перестав смеяться, он вдруг перешел на серьезный тон:

– И тем не менее ваше замечание представляет интерес. Существует прекрасный постулат, гласящий, что все жизни равноценны. Красиво, но ложно. Чего стоит, например, бесцельное и бесплодное существование? Или, хуже того, жизнь, полная страданий, без малейшей надежды на улучшение? Она не стоит ничего, Минна. Больше того, она дорого обходится... Она дорого

обходится другим, тем, кто работает, кто заводит семью. Разве общество не должно стараться сократить такую бесполезность, такую боль?

Они убьют их. Все слухи были верными...

– Только Бог может решать, когда посылать смерть человеческим существам, – ответила она. – Мы здесь, чтобы сохранять жизнь, поддерживать ее и улучшать. Вы сами упомянули клятву Гиппократов. Таков наш непререкаемый долг, совпадающий с посланием любви Священного Писания.

– Ваши христианские убеждения делают вам честь, Минна. Я и не ждал меньшего от фон Хассель. Но должен поймать вас на слове. Разве не сказано в Евангелии от Матфея: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся...»? Разве не наш долг уменьшить их страдания на земле, ускорить освобождение этих несчастных? Их ждет блаженная вечность...

Минна чувствовала себя отяжелевшей, будто впавшей в оцепенение. Так бывает, когда много выпьешь за обедом. На нее накатила вторая волна, но уже не опьянения, а утомления тела и души. Ей хотелось одного – заснуть, прямо здесь и сейчас, может, даже под столом.

– Посмотрите эти материалы, – продолжил Менгерхаузен, словно почувствовав, что теряет собеседницу. – Обратите внимание на фотографии. Прочтите брошюру. – Он обвел взглядом окружающие их унылые огороды. – Думаю, вашим пациентам будет лучше там, чем здесь.

Как идеально отлаженный метроном, за стеной затарахтел мотоцикл. Менгерхаузен встал и закрыл портфель. Ни слова о числе пациентов или о болезнях, от которых лечили в этих стенах. Ни малейшего интереса к методам Минны или полученным результатам.

Он приехал предупредить ее, и точка.

– Я дам вам знать, – подтвердил он. – Мы сейчас занимаемся арендой автобусов. Все пройдет так, как мы умеем. Без сучка и

задоринки!

Она смотрела, как он уходит, сутулясь и косолапя, помахивая рукой, будто прощался с детьми на вокзальном перроне.

Она снова увидела его сквозь решетку ворот, исчезающего в облаке пыли – его самого, его мотоцикл, его загадочного водителя и его зловещие планы.

Она огляделась вокруг и заметила, что в саду полно больных. Это называлось «вечерней прогулкой». Вскоре Альберт с подручными дадут сигнал к отбою.

Одним днем больше, одним днем меньше в госпитале Брангбо.

Она посмотрела на список, который по-прежнему держала в руках.

И разрыдалась.

МИРИАМ ВИНТЕР
ВЕРНЕР ШТАЙН
ГАНС ШУБЕРТ
КОНРАД ГРОТ
КАТРИН ДИССЕН
АЛЕКСАНДЕР ХОФМАН
РУДОЛЬФ ГЁТТЕР
СЕБАСТЬЯН РИЧ
ЛЮДВИГ ВЕРНИНГЕР...

Перечисление продолжалось, пробуждая воспоминания, образы и немало отчаяния тоже. В этом списке из тридцати имен были шизофреники, дауны, умственно отсталые, параноики... ее заведение не было психиатрической клиникой в классическом смысле слова, скорее свалкой или, если уж не выбирать слов, помойкой... Ее предназначением было не лечить больных и уж тем более не добиваться их выздоровления, а просто держать их где-нибудь подальше.

Осушив слезы, Минна попыталась рассуждать здраво. То, что произошло сегодня, носилось в воздухе уже несколько лет. Эта кампания по уничтожению душевнобольных вылезла на свет божий в 1935 году вместе с нюрнбергскими законами^[64]. Ее инициаторы открыто призывали к стерилизации калек, сумасшедших и всех, кого нацисты считали природной аномалией. От стерилизации до ликвидации всего один шаг. И очень маленький шаг...

В кино Минна видела пропагандистские короткометражки, которые прокручивались перед художественным фильмом и несли совершенно недвусмысленное послание. *Leben ohne Hoffnung* («Жизнь без надежды») демонстрировала тупых монстров, хихикающих уродов с бритыми черепами, цепляющихся за прутья

ограды, как в зоопарке. *Opfer der Vergangenheit* («Жертвы прошлого») под извращенным углом показывала истощенные лица больных, проводя параллель с молодыми атлетами из *Hitlerjugend* (Гитлерюгенда, Союза гитлеровской молодежи).

Что ужасало в этих картинах, так это полное отсутствие жалости, доброжелательности. Или хотя бы неловкости, учитывая твердое намерение с такими людьми покончить. В глазах властей эти несчастные были уже мертвы.

Она еще раз пробежала список: начинался процесс уничтожения, и она попала под руку одной из первых. *Scheiße!*

Минна спросила себя, к кому можно обратиться за помощью. В Институт Геринга? Но наверняка именно эта ассоциация курировала выполнение плана. В Министерство здоровья? Но его теперь объединили с Министерством внутренних дел, потому что отныне все находилось под контролем СС. Она подумала кое о ком из своих прежних профессоров, но все они или были евреями и уже исчезли, или же были арийцами и сменили окраску в тридцать третьем году. «Мартовские фиалки»...^[65]

Внезапно в голове мелькнуло имя: Франц Бивен.

Он был единственным нацистом, кого она знала, и наверняка обладал определенной властью. В гестапо всё знают и всё могут.

Но как убедить его помочь?

Она давно уже чувствовала, что молчаливый циклоп положил на нее глаз, но этого явно недостаточно.

Она еще раз посмотрела на перечень имен, и у нее мелькнула идея.

Да, другого способа не было...

– Привет, малыш.

Симон Краус, сидевший в переполненном баре клуба «Нахтигаль», обернулся: перед ним высился Вилли Беккер, кости да блески. Метр восемьдесят роста и максимум пятьдесят кило веса, длинный и жесткий, как шест. На нем был приталенный смокинг из винно-красной тафты с черным шалевым воротником. Веки подведены карандашом до самых бровей.

– Не мог бы ты прекратить так меня называть.

Вилли положил свою длинную клешню ему на плечо:

– Твой вечный комплекс лилипута. Что ты заказал?

– «Космополитен».

Вилли наклонился – пахло сильным ароматом сандала и еще каким-то неопределимым, но очень мужским запахом.

– Брат, не хотелось бы тебе говорить, но это питье для пидовок.

– Поэтому его здесь и подают, верно?

Вилли выпятил свою хилую туберкулезную грудь:

– Ты что выдумываешь? Я люблю мужчин, но настоящих, крутых, с тату!

Симон рассмеялся. Этот поэт вместо гвоздики вдел в петличку орхидею. На блестящей бордовой ткани чувственный цветок смотрелся как нечто смертоносное.

– Я схожу принесу тебе, – бросил он, прокладывая дорогу сквозь толпу.

В двадцатых годах Берлин был европейской столицей искусств, мюзик-холла и распутства. Нигде больше не скопилось столько гениев, кабаре и борделей. И все это несмотря на нищету и царивший хаос. Государственные перевороты и голод сыпались градом, но стоило наступить ночи, и город заходился в конвульсиях, попутно пренебрегая всеми нормами морали.

В свои студенческие годы Симон еще застал конец той эпохи. Сегодня все смел национал-социализм, и ночные герои вернулись в свои логова.

Но затушенные очаги еще тлели...

А потому на Ноллендорфплац, в квартале Шёнеберг, еще таились несколько темных искорок. Например, гомосексуальный клуб «Нахтигаль» держался на плаву (один дьявол знает как), укрывшись в тени линии метро, идущей над площадью.

Его хозяин, Вилли Беккер, достоин отдельного рассказа. Танцовщик, актер, писатель, он также был гомосексуалом, наркоманом, сутенером и мошенником. Когда-то он познал успех в литературных кабаре, играл в фильмах ужасов, танцевал в куче спектаклей, публиковал стихи в заумных журналах, прежде чем стать импресарио Аниты Бербер, знаменитой артистки, которая любила танцевать голой везде, где ей только приходило в голову, и кончила тем, что умерла в нищете, пропитавшись до мозга костей алкоголем и кокаином.

Легенда гласит, что Вилли, пьяный, как свинья, и чахоточный, как поэт, явился на ее похороны полуголым и рыдал под дождем с цветком в зубах. В те времена Берлин умел произвести впечатление...

Но зачем малыш Симон притащил нынче свою бледную смазливую мордашку в это сумеречное кабаре? Потому что после смерти Аниты Бербер Вилли нашел себе новую компаньонку в лице Лени, тоже танцовщицы-малолетки, но не менее раскованной. На пару они наверняка общипали немало богатеньких обывателей, пока Лени не сорвала крупный куш – банкира Ганса Лоренца.

По сей день эти две ночные птицы оставались напарниками, и к гадалке не ходи, именно старый банкир финансировал клуб чахоточного.

– Вот, ваше величество, – шаркнул Вилли, ставя перед Симоном стакан. – «Космо», приготовленный с особым старанием для нашего почетного гостя!

Его большие совиные глаза впились в Симона, который инстинктивно втянул голову в плечи.

– Спасибо.

– Каким ветром тебя занесло, моя птичка? Решил сменить ориентацию?

– Хотел узнать, как Лени.

– Я ее давно не видел, мы поругались.

– Из-за чего?

– Из-за мужика с минетом, то есть с лорнетом.

– А ты будь выше этого, – посоветовал Симон. – В Берлине каждый выживает, как может, и Лени еще не так плохо выкрутилась.

– И все же этот банкир... У него пиписька наверняка не больше потертого пфеннига.

– Может, Лени такие и нравятся.

Симон отпил глоток. Джин, «Куантро», лимонный сок, клубничный сироп... В итоге та еще бурда.

На сцене появились музыканты. Саксофон, контрабас, гитара, тарелки. Артисты – всем за сорок – были в форме гитлерюгенда. Коричневые рубашки, красные нарукавные повязки со свастикой, пояс с орлом на пряжке, короткие штаны и высокие гольфы.

Ничего не скажешь, Вилли не из пугливых. По нынешним временам такие шутки могли поставить вас прямиком перед расстрельной командой.

– Побереги нервы, – улыбнулся хозяин заведения, заметив тревожное выражение на лице Симона. – Половина *warme Brüder*^[66] здесь нацисты. Это их давняя традиция еще со времен СА. Если Гитлеру понадобятся несколько здоровых членов для защиты своего жизненного пространства, пусть заглядывает сюда.

«Нахтигаль» действительно был одним из редких мест в Берлине, где можно было забыть о море свастик и бандитских мордах эсэсовцев.

– Значит, от нее никаких новостей? – вернулся к прежней теме Симон.

– Нет.

– Как давно?

– Примерно с неделю. – Вилли вдруг нахмурился – что было трудно заметить под слоем черной карандашной подводки. – Мне пора беспокоиться?

– Вовсе нет. Просто она не пришла на последний сеанс.

Симон снова пригубил розовую жидкость. Вилли был совершенно прав: бабское питье. Слишком сладкое, а под конец и вовсе отвратительное.

– Ей наверняка надоело рассказывать тебе скабрёзные истории, да еще и платить под занавес. Что-то неладно с психоанализом. Когда идут в театр, то раскошеливается зритель, а не актер.

Симон добродушно покачал головой – если бы он записывал все нападки, которым подвергался при нем метод Фрейда, у него уже скопилась бы целая библиотека.

– В любом случае я все же хотел бы ее повидать. Как друг.

– Надо же. Легки на помине...

Вилли заметил новых клиентов, только что откинувших тяжелую черную бархатную занавесь, перекрывавшую входную дверь.

– Извини меня. Я должен заняться Коричневым домом.

Симон проследил взглядом за Вилли и узнал – или ему так показалось – важных шишек нынешнего режима. Физиономии, которым регулярно отводились страницы таких газетенок, как *Völkischer Beobachter*^[67] или *Der Stürmer*^[68]. Но имен он вспомнить не мог. Их столько было...

Вилли крикнул ему, перекрывая шум:

– Оторвись за мое здоровье!

В это мгновение гитлерюгендцы на сцене затагнули «It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing»^[69] вопреки всему, что дозволялось играть в эти времена в Берлине. Учитывая послеполуденный «Tag Paper Stomp», сегодняшний день прошел у Симона под знаком джаза.

И тут же денди в костюмах, дамы с мускулистыми икрами, моряки с отложными матросскими воротниками и красными помпонами, двуполые существа с выщипанными бровями и черной помадой образовали между столами крошечный танцпол, двигаясь в такт. Радостные выкрики смешивались с пронзительными звуками саксофона.

Симон достаточно давно захаживал в подобные места, чтобы различить несколько сложившихся каст: «коридорные», которые тусовались компанией в барах гостиниц, снимая клиентов, *bad boys*^[70], одетые в кричащие цвета, с карманами, набитыми афродизиаками, «дикие мальчишки» без гроша и крыши над головой, слонявшиеся вокруг Музея анатомии недалеко от Липовой аллеи, которых можно было поиметь за несколько сигарет...

Он незаметно ускользнул, направляясь к лестнице, ведущей к туалетам, и двигаясь против течения: посетители сомкнутыми рядами устремлялись к танцполу.

Беккер не поскупился на обстановку. Он соединил отдельные элементы типичных кабаре двадцатых годов и попытался добиться гармоничного сочетания этих фрагментов чистого китча. Ярко освещенные синими или фиолетовыми прожекторами стены, усеянные блестками, напоминали Млечный Путь, за мавританскими балконами скрывались отдельные кабинеты, над столиками нависали купола или минареты из искусственного мрамора, по всему залу стояли расшитые золотом банкетки и лежали горы подушек. «Нахтигаль» желал выглядеть мавританским, или турецким, или арабским – в любом случае сладострастным и экзотическим...

Симон спустился в подвал. Опасная зона для красивых мальчиков. По обеим сторонам затянутого алым атласом коридора шли едва освещенные комнаты с альковами, матрасами и переплетенными телами мужчин...

– Ты-то что здесь делаешь? – рыкнул голос, в то время как горилья лапа прижала его к стене.

Симону потребовалась какая-то секунда, чтобы узнать гауптштурмфюрера Франца Бивена собственной персоной. Гигант сменил мундир с рунами СС на великолепно сшитый черный переливчатый смокинг, явно уведенный у какого-то еврея. Он также соорудил себе прическу с позолоченными кончиками волос и светлой прядью, на укладку которой ушли тонны бриолина.

– Отвечай! – прорычал ярмарочный геракл, вздымая кулак.

Симону удалось если не втянуть воздух, то по крайней мере выдавить улыбку:

– Знаешь, что говорил Фрейд? «Агрессивность – признак недостаточного словарного запаса».

Сильнее страха, сильнее разума, его маниакальное стремление доказать свое умственное превосходство в очередной раз взяло верх. Кулак Бивена пришел в движение. Симон закрыл глаза. Звук удара раздался рядом с его ухом. Он приоткрыл веки. Нацист скривился от боли, залепив кулаком в стену.

Одноглазый ослабил хватку – так отпускают рыбу обратно в ведро.

– Что ты здесь делаешь? – повторил он. – Ты педик?

Симон оправил пиджак.

– Да нет, не слишком. По-моему, мы оба здесь по одной и той же причине.

– То есть?

– Лени Лоренц.

– Лени Лоренц мертва, придурок.

Краус достойно принял удар. Он это уже заподозрил ближе к полудню, но новость вызвала острую боль где-то в области печени.

– Убита?

Франц Бивен подтвердил, намертво сжав челюсти. Такое впечатление, что он раздробил зубами свое «да», как орех.

– Сюзанна Бонштенгель тоже? – спросил Симон.

Глаз Циклопа зажегся свирепым огнем.

– Думаю, нам с тобой есть что сказать друг другу.

Разувшись, они устроились в одном из погруженных в полумрак альковов, идущих вдоль стен большой секс-арены – круглого зала. Расположенный в центре танцпол был окружен отдельными закутками с маленькими керосиновыми лампами, похожими на навязчивых злобных светлячков.

Симон и Бивен, не сговариваясь, развернулись спиной к танцполу и к соседним альковам. Там взасос целовались парни, брали друг друга, пристроившись цепочкой, или же смаковали по очереди член за членом, как лижут леденцы на сельской ярмарке.

Краус предпочитал не думать, как они выглядят вместе: карлик и титан, оба в вечернем прикиде, но в одних носках, оба одеревенелые, как канделябры, в окружении гомосексуалов, весело трахающихся в ароматах общественного писсуара.

– Почему ты назвал имя Сюзанны Бонштенгель? – первым вступил в бой Бивен.

– Потому что ей тоже снился Мраморный человек.

– Что?

– Я сказал: ей тоже снился Мраморный человек.

Симон объяснился. Чтобы действительно продвинуться в расследовании, ему необходима помощь, и эту помощь мог оказать только гестаповец.

Где-то в отдалении граммофон играл песни Марлен Дитрих. Между этими привязчивыми мелодиями, которые исполняла женщина с мужским голосом, и гомосексуальной меланхолией всегда существовала связь. Симон не смог бы объяснить, в чем тут дело.

Ich hab' noch einen Koffer in Berlin,

Deswegen muss ich nächstens wieder hin^[71].

Когда Симон закончил свои объяснения, он был весь в поту. Вокруг царила удушливая жара, наполненная миазмами и поскуливаниями. Он догадывался, что до Бивена не очень дошла суть его гипотезы: получалось, что человек, являвшийся жертвам в снах, затем убивал их в реальности.

Это была явная бессмыслица. Но как можно поверить в подобное совпадение? Во всяком случае, Краус выложил все, теперь очередь Бивена. Рискнет ли он? Гестаповцы были помешаны на секретности.

Симон решил, что надо его подтолкнуть:

– Тебе тоже нужна помощь. Ты годишься для этого расследования не больше, чем я для прогулок в нацистской форме.

Губы Бивена искривились: то ли эта картина вызвала в нем отвращение, то ли рассмешила – трудно было сказать.

Наконец он решился и в свою очередь выложил все, что знал об этой серии убийств. Имена. Даты. Образ действий. А главное – ключевая улика: орудием преступления был нацистский кинжал.

Симон впал в крайнее возбуждение. Он был уверен: на пару им удастся вычислить убийцу. Бивен располагал всеми материально-техническими средствами, какие только были в распоряжении лучшей полиции в мире. А он сам чувствовал себя как рыба в воде в мире жертв (и, без сомнения, убийцы).

Вот только их версии были несовместимы. Бивен считал, что убийца нацистский офицер, выбиравший жертв на каком-нибудь официальном приеме. По мысли Симона, все совершало наполовину фантастическое существо, явившееся из мира снов, дабы свершить кару.

С одной стороны, сугубый практик.

С другой – толкователь снов.

Но у Симона имелся весомый аргумент, позволявший прийти к согласию.

– Мраморный человек может нам рассказать о твоём нацистском офицере.

– Как?

Конечно, то место, где они находились, менее всего на свете подходило для пространного психоаналитического объяснения механизма снов, но Симон не дрогнул.

– Днём твой мозг почти не задерживается на какой-то детали. Эта деталь хранится в кратковременной памяти, там, куда ты помещаешь всякие несущественные элементы. Однако ночью сон использует именно такие воспоминания, чтобы развить свой сценарий. Этот фрагмент становится вектором для выражения твоего страха. Понимаешь?

– Нет, не очень. Приведи пример.

– Конец зимы. Ты гуляешь по Берлину и замечаешь, что петунии в этом году рано расцвели. Эта мысль занимает твой мозг десятую долю секунды. Но на протяжении этой десятой доли она полностью царит в твоём мозгу и идет вразрез с твоими обычными заботами, что и придает ей особую значимость.

– Ну и что?

– Следующей ночью тебе снится, что тебе четырнадцать лет. Ты член гитлерюгенда и умираешь от страха, потому что фюрер должен провести смотр твоего отделения. По этому случаю тебе поручено вручить ему букет цветов, букет петуний. На протяжении всего сна твоя тревога будет передаваться через это растение. Оно элемент-носитель.

– Очень смешно.

– Я не шучу. Образ Мраморного человека в нашей истории играет ту же роль. Жертвы заметили где-то эту фигуру – скульптуру, гравюру или же человека, который чем-то ассоциируется с камнем.

– Какое это имеет значение для расследования?

Хлюпанье плоти, хрипы и стоны доносились до них, как сумрачное бульканье болота.

– Согласно датам моих сеансов, всем Адлонским Дамам за неделю до смерти снился Мраморный человек. Это означает, что каждая из них в свою очередь видела деталь, вызвавшую этот сон.

– Никак не пойму, куда ты клонишь.

– Нужно подробно восстановить все их времяпрепровождение в течение недели, предшествующей убийству, нужно осмотреть места, где они бывали: убийца скрывается в каком-то из них. Возможно, это церковь, или музей, или просто модный магазин...

Казалось, Бивена его речи не убедили. Конечно, он рассчитывал, что Симон будет служить его глазами и ушами в «Вильгельм-клубе», а не направлять расследование, руководствуясь своими измышлениями.

– У тебя слишком богатое воображение, – в конце концов подвел итог он.

– Значит, у меня есть нечто общее с убийцей.

Симон встал. Воротничок его рубашки промок насквозь, вонь подвала забила ноздри. Он больше не мог оставаться в этой клоаке.

– Я предупрежу тебя, если узнаю хоть что-то, – в свою очередь заключил он. – И прими совет: продолжай ходить в штатском, пока будешь вести это расследование. Эсэсовская форма не лучшее прикрытие, если хочешь действовать скрытно.

Циклоп ухватил его за запястье:

– Отлично, но не забывай одну вещь.

– Какую?

– Для меня ты остаешься одним из подозреваемых.

– Можешь провести у меня обыск. Нацистского кинжала у меня нет.

– Да, но ты единственный, кто спал со всеми тремя жертвами.

Симон застыл.

– Откуда ты знаешь?

– Простая интуиция.

Психоаналитик решил перевести угрозу в шутку:

– Ты прав. Кто знает? Может, я и есть человек с каменным членом.

– И правда, всегда говорили, что у карликов он огромный.

34

Выйдя из клуба «Нахтигаль», Франц Бивен решил отправиться к проституткам. Дело не терпело отлагательств: ему срочно требовалось избавиться от всех мужских запахов, липнувших к коже.

Он нашел свою машину – шофера он отпустил – и двинулся на юго-запад, в Нойкёльн, где располагался «Клара-Хаус», хорошо известный офицерам СС. Не бордель в прямом смысле, а бар, где царил такая мания всего нацистского, что девицы не требовали ни денег, ни чувств, если на вас был мундир.

У Бивена кружилась голова, но не от алкоголя, а от откровений Крауса, который больше запутал его, чем помог. Только-только он обнаружил серьезную улику, как этот коротышка начал морочить ему голову снами и бессознательным...

После ухода Симона он задал несколько вопросов Вилли Беккеру. Скользкий тип, и даже очень скользкий, но он никак не мог убить этих несчастных девиц и уж тем более изувечить Лени Лоренц, которая, судя по всему, была его лучшей подругой.

По поводу его писем к Лени и содержащихся в них расчетах Беккер был весьма уклончив – наверняка речь шла о каких-нибудь темных финансовых махинациях, не представляющих интереса для расследования, и Бивену оставалось только удивляться, зачем это могло понадобиться весьма обеспеченной женщине. Вот о таких и говорят, что «горбатого могила исправит».

Бивену понравилась их краткая беседа. Вилли – педик, но крепкий орешек, напомнил ему времена СА. Он бы понравился Рёму и его клике извращенцев и налетчиков. *Мир праху их...*

Бивен ушел с тяжестью на сердце: он так и не сказал Вилли о смерти Лени. Секретность превыше всего.

От Ноллендорфплац до Нойкёльна – не ближний свет, плестись и плестись. Но берлинская ночь была тиха и пустынна. На своем

«мерседесе» он долетел быстро. Вскоре уже показался бар «Клара-Хаус».

Он терпеть не мог это место, но у него не было ни любовницы, ни свободного времени, чтобы решить насущную проблему. Так или иначе придется лезть в эту дыру.

Паркуясь, он опять подумал о «Нахтигале», о месиве переплетенных мужских тел, вызвавших у него такое отвращение. Ему рассказывали, что во времена античных греков – а значит, на вершине культуры – все поголовно были содомитами. *Привет, цивилизация.*

Он свернул на Рикештрассе, потом на маленькую перпендикулярную улочку, где разместилась Клара со своими девочками. Вход в дом – кстати, не бросавшийся в глаза – охранялся часовыми в форме. Действительно очень закрытый клуб.

Ему пришлось показать свой значок, чтобы войти, – он же по-прежнему был в штатском. Оказавшись внутри, он сказал себе, что Симон Краус прав: он, Бивен, совершенно запутался в этом деле. И цеплялся за историю с кинжалом только потому, что это была единственная материальная зацепка. Он даже не пытался разобраться в побудительных причинах убийцы, так как был на это не способен. Он оставался всего лишь мужланом, попавшим в золотопогонники. Чтобы понять такого убийцу и почуять его след, нужно быть как Краус. Закомплексованным, порочным, на «ты» с психозами.

Зайдя в главный зал, Бивен произвел немалый эффект. Он был единственным в смокинге. Это могло бы стать преимуществом, но только не в дешевой дыре, где девицы текли исключительно от фуражек и дубовых листьев. К счастью, его физиономия была выразительней любого мундира.

Прежде это местечко не казалось ему до такой степени отвратным. Большое помещение с серыми стенами, слева бар, в центре танцпол, вокруг столики. Густой застоявшийся дым стлался по потолку, и все пропиталось запахом пива, слившимся с вонью мочи.

Мебель дешевая, окна задернуты сальными занавесками, на полу мокрые пятна. В глубине лестница, ведущая в номера.

Бивен направился к бару, пытаясь продышаться в этом смраде. Дым стоял такой плотный, что за три метра ничего нельзя разглядеть. Он заказал шнапс и, опершись о стойку, обернулся, оглядывая театр действий.

Натуральная жуть. Надравшийся офицер приставал к маленькой блондинке, желая выяснить, пукает ли она, когда писает, другой расхристанный тип шарил между ногами подружки, пытаясь другой рукой вытащить свой прибор, – и, кажется, не мог выбрать между ширинкой и кобурой. Несколько полуголых парочек танцевали, вернее, пошатывались под звуки игривой песенки. Речь в ней шла об охотниках и ласках (скорее всего, имелись в виду зверьки), но граммофон был таким паршивым, что толком разобрать слова не представлялось возможным.

Ему вспомнилось замечание Лоренца, маленького банкира в пенсне: в теперешней Германии любви больше нет места. Когда вдовец произнес эти слова, гестаповец чуть не рассмеялся над такой наивностью. А ведь тот сказал истинную правду. Даже ненависть, его собственная ненависть, которую Бивен лелеял, как сокровище, утратила свою силу. Все чувства, и добрые, и злые, отныне были покрыты слоем омерзительной грязи.

Он положил на стойку монету и направился к выходу. Ничто здесь не стоило и одной минуты потерянного сна. В тот момент, когда он откидывал занавеску у входной двери, на него налетел вновь прибывший.

– А ты здесь откуда взялся? – воскликнул Бивен, узнав Динамо.

– За тобой пришел.

– А как ты узнал, что я здесь?

– Шпионить за шефом – профессиональный рефлекс любого гестаповца.

– Чего тебе надо?

– Нашелся гауптман Макс Винер.

– Где?

– На картофельном поле. Его закопали не очень глубоко.

Два трупа за один день – это перебор даже для гестаповца.

Они ехали уже полчаса, направляясь строго на юг, и наконец очутились в чистом поле.

Бивену были хорошо знакомы циклы обработки земли. Выходя из машины, он не удивился встретившему его зловонию. Лушение^[72] шло полным ходом. После сбора урожая остатки соломы закапывали, чтобы ускорить их разложение. Также проводили вспашку, чтобы проветрить почву, потом насыщали ее удобрениями – отсюда и стоявший смрад.

– Не знаю, как местные выносят такую вонищу, – заметил Динамо.

– Где тело? – оборвал его Бивен.

Хёлм ткнул пальцем, и они пустились в путь, увязая в рыхлой земле. Команда гестапо приложила все усилия для сохранения секретности. У обочины стоял один-единственный фургон и тот с погашенными фарами. Рядом томились ожиданием несколько мужчин в штатском. Они были похожи на горожан, решивших поживиться дармовыми овощами...

Динамо говорил о картофельном поле, но он ничего в этом не понимал. Здесь собрали урожай ржи или пшеницы, а никакого не картофеля. Хотя это мало что меняло.

– Почему гестапо, а не Крипо? – неожиданно спросил Бивен.

– Повезло. Какой-то крестьянин нашел тело ближе к вечеру, когда заканчивал вспашку. Он тут же оповестил агента гестапо в деревне. Тот не очень понимал, кого вызывать. Они посоветовались со старостой, нацистом, у которого двоюродный брат из наших, в гестапо. В результате связались с ним, так и получилось.

Они шагали все так же тяжело, и само это усилие теперь приносило Бивену тайное удовлетворение. Вместе с вывороченной глиной всплывало на поверхность его детство. И еще мысль: ему

все-таки удалось выбраться из этого. *В бога душу мать*. Он оставил позади и всю эту срань, и рабскую жизнь.

– Вон там, – бросил Динамо.

Метрах в ста слева виднелась серая дерюга, лежавшая между двумя бороздами. Сыщики положили камни по четырем углам полотна, чтобы его не сдул ветер. Прimitивно, но эффективно.

Динамо отогнул край дерюги и включил свой электрический фонарик – армейский «Daimon Telko Trio», которым он очень гордился. В зеленоватом свете показалось голое тело. Бивен мгновенно заметил следы пыток. Он взял фонарик из рук Хёлма и встал на колени, чтобы разглядеть получше.

Ногти на руках и ногах вырваны. Большие пальцы ног обожжены – наверняка между пальцами вставляли вату и поджигали. Следы сигаретных ожогов на шее и вокруг сосков. Следы электрошока на гениталиях. Множественные синяки. Все кости лица, кажется, раздроблены.

– С чего взяли, что это Винер?

– Один из людей, прибывших на место, раньше работал в Крипо. Он его узнал.

Бивен поднялся и направил луч фонарика на раздувшееся лицо.

– У твоего парня глаз-алмаз. Учítывая, как его уделали...

– В любом случае немало шансов, что это он и есть, верно?

– Причина смерти известна?

Хёлм забрал фонарик и каблуком перевернул тело. Две дыры от пуль в затылке.

– Профессионал работал.

Наверняка хотел добавить «кто-то из наших», но воздержался.

Кстати, им и говорить-то было необязательно. Такие пытки они знали досконально. Как и саму технику ликвидации. Методы гестапо – те самые, что они применяли на протяжении долгих лет, на пару и в подвале.

На краю поля мелькнули фары, высветив глинистую поверхность. Присмотревшись, Бивен узнал черный «мерс» Пернинкена.

– *Scheiße*. Кто ему уже настучал?

Хёлм только хмыкнул в ответ, пнув комок земли.

У Бивена решительно складывалось впечатление, что он узнает обо всем последним, как рогоносцы. В гестапо любое расследование сопровождалось параллельным процессом, объектом которого становились сами следователи. Тайная полиция представляла собой сеть доносчиков, осведомителей, стукачей. Змеиное гнездо, где все пожирало друг друга.

Хёлм достал из кармана флягу.

– Глоточек шнапса перед сеансом орального секса?

– Спасибо, обойдусь.

Он поднял глаза к небу и вдохнул испарения сумерек. Конечно, запах дерьма, но такой знакомый. Над ним в иссиня-черном небе сверкали звезды. Любой восхитился бы величественным зрелищем. Но не Бивен. Когда он был ребенком, небесный свод давил на него, вызывал головокружение и даже панику.

Он всегда воспринимал звезды как сигналы бедствия, пришедшие из другого мира. Из вселенной, которую невозможно не только рассмотреть, но и осмыслить. Из бездны, в которую рано или поздно канет и он сам.

В такие моменты он обещал себе, что вернется в церковь, поговорит со священником – единственное утешение для ограниченных умов вроде него. Он засмеялся в воротник крахмальной вечерней рубашки. Он – к священнику? Каждый день, скорее всего, приближал его к геенне огненной...

Пернинкен шел к ним; в час ночи он был одет так, будто собрался на парад на Олимпийском стадионе.

– Оставь меня, – шепнул Бивен.

Не говоря ни слова, Хёлм положил на место камни, которые придерживали дерюгу, скрывавшую тело Макса Винера, и удалился.

Увидев наряд Бивена, Пернинкен саркастически присвистнул. Сухая ирония офицеров гестапо.

– Рассказывайте, – приказал он.

Обергруппенфюрер был уже полностью в курсе и, возможно, знал обо всем больше подчиненного, но Франц покорился велению долга. Он вкратце изложил информацию, только что полученную от Хёлма.

Пернинкен не стал смотреть на тело. Фуражка на голове лишала его доброй половины персональной харизмы: величественно голого черепа.

Бивен, решив его спровоцировать, описал образ действий при убийстве – ведь речь шла именно об убийстве – и подробно остановился на пытках, которым подвергся несчастный детектив.

Обергруппенфюрер промолчал. Он стоял всего в метре от Бивена, опустив голову, и черты его лица было не различить. Зато погоны, нашивки и медали блестели под луной.

– Как вы объясните, что офицер Крипо оказался закопанным здесь, убитый двумя пулями в затылок после пыток?

Это я вас должен спросить, чуть не ответил Бивен, но такая дерзость ни к чему бы не привела.

– Слишком рано судить, обергруппенфюрер, но расследование...

– Расследования не будет, – спокойно прервал его шеф.

Он прикурил сигарету и стал, по всегдашнему обыкновению, расхаживать туда-сюда – по вспаханной земле это было не так-то легко. Увидев, как он споткнулся, Бивен посмотрел на начальника другими глазами. Никогда еще тот не казался таким реальным... и таким пустопорожним.

– Главный вопрос в другом: кто это сделал?

– Да, кто? – невольно повторил Бивен театральным тоном.

– Это могли быть вы, это мог быть я, – не моргнув глазом бросил Пернинкен. – Или же эти сволочи из СД^[73]. Или даже, почему бы нет, сама Крипо.

– Расследование...

– Повторяю, его не будет. Никто не станет терять время на дело, которое так или иначе замнут. Если Винер лежит здесь, у наших ног, значит сам виноват. Пути фюрера... неисповедимы.

В этом замечании не было и следа иронии. С точки зрения эсэсовцев все было решено раз и навсегда: Адольф Гитлер бог.

Бивен предпочел сменить тему:

– Я видел этим вечером герра Кёнига.

– Я знаю. Он мне звонил.

– Почему вы разрешили ему поделиться со мной информацией о кинжале?

– Я не понимаю, как вы могли бы продолжить расследование, не владея всей информацией по делу.

На этот раз Бивен чуть было не заорал: «Не держите меня за полного идиота!» Но снова выбрал униженный, почти вкрадчивый тон:

– Однако я впервые слышу об этом важнейшем обстоятельстве. О нем не упоминается ни в одном...

– Сначала мы должны были увериться, что вам можно доверять.

– В каком смысле?

– Бивен, за вами следили в последние дни. Теперь мы считаем, что, прежде чем задержать преступника, вы сумеете поступить должным образом.

– Позволив вам убить его?

Бивен высказался слишком прямолинейно. Даже в гестапо следовало выбирать выражения.

– Если я арестую этого человека, – сдал он назад, – то никто не будет заинтересован в том, чтобы его судили и приговорили. Подобная история может сильно запятнать репутацию рейха, не говоря уже об иностранной прессе.

Пернинкен не отпустил ни единого комментария. В его молчании сквозило одобрение.

– Разумеется, можно было бы уладить дело максимально деликатно, не вынося сор из избы, – продолжил Бивен, – но это также наделает шума. Исчезновение высокопоставленного чина СС не останется незамеченным. Пойдут слухи...

– Ближе к делу, гауптштурмфюрер.

Бивен набрал в грудь воздуха и кинулся в неизвестность:

– Существует территория, на которой офицер СС может исчезнуть самым естественным образом.

– Какая именно?

– Война, польский фронт.

– Что именно вы задумали, на самом-то деле?

Бивен выложил все разом:

– Я нахожу убийцу, сообщаю вам его имя, и вы посылаете его на фронт. Там он может незаметно... погибнуть. Что может быть естественней, чем смерть на поле боя?

– И кто возьмет на себя эту... казнь? Вы?

– Именно.

Пернинкен улыбнулся в полумраке:

– Ваша вечная навязчивая мечта об отправке на фронт.

– Мы об этом уже говорили, обергруппенфюрер, мы...

– Я передам наверх, – оборвал его Пернинкен. – Но в вашем плане не хватает главного: имени убийцы.

– Я скоро его добуду, обергруппенфюрер.

– Надеюсь, ради вас же. – Отто Пернинкен снова принялся расхаживать по рыхлым глинистым комьям. Он, конечно же, не осознал иронии своих слов, когда добавил: – Но внимательно смотрите себе под ноги, Бивен.

– Я буду осторожен.

– Вы мне напоминаете одного эсэсовского офицера, которого я когда-то знал. Он думал, что может использовать нацистский режим... скажем так, в личных целях.

– Что с ним стало?

Генерал оглядел погруженные в сумерки поля:

– Если мне не изменяет память, он зарыт где-то неподалеку отсюда.

Беседа с Эрнстом Менгерхаузенем не принесла ничего хорошего, продолжение тоже. Выплакав весь алкоголь в мечтах о том, как она увезет своих «детей» куда-нибудь за моря, где нет нацизма, Минна фон Хассель заснула, как последняя пьянчужка, в своей тачке. Проснулась она только около одиннадцати вечера, чтобы как следует проблеваться – с коньяком это был обычный исход: нокаут с острой тошнотой и желчной отрыжкой.

И тогда против всех ожиданий зазвонил больничный телефон...

Квартал Моабит, расположенный в западной части Берлин-Митте^[74], был известен когда-то двумя равно важными вещами: тюрьмой и прокоммунистическими настроениями. К исходу шести лет национал-социализма расстановка сил поменялась: на дух ничего коммунистического, зато камеры переполнены политзаключенными.

Моабит был большим островом, окруженным Шпрее с юга, Шарлоттенбургским каналом с запада, Вестхафенским каналом на северо-западе и судоходным каналом Берлин-Шпандау на северо-востоке и востоке. Нечто вроде отдельного мира, родившегося из индустриализации XIX века, чье рабочее население, и без того теснившееся как сельди в бочке, еще и подыскивало дополнительных постояльцев на ночь – по несколько марок за соломенный тюфяк.

Можно не уточнять, что в час ночи в северной части Моабита, рядом с речным портом Вестхафен, не горело ни единого фонаря, а улицы как вымерли. Рабочие спали сном праведным.

Итак, ей позвонила Рут Сенестье. Уже почти два года о ней не было ни слуху ни духу. Художница, скульптор, лесбиянка, придерживавшаяся левых взглядов: совершенно непонятно, как она умудрилась выжить при национал-социализме.

– Как твои дела?

Женщина не ответила. Она просто попросила приехать к ней в «Гинекей», сапфический^[75] клуб на берегу одного из водоемов Вестхафена. *Это срочно.*

Недолго думая, Минна приняла душ, оделась и села за руль своего старенького «мерседеса-мангейм». Через час она добралась до цивилизации, то есть доехала до Берлин-Митте, потом по набережным Шпрее до тепловой электростанции Моабита.

Припарковавшись у подножия внушительного комплекса с его башней в форме колокольни и похожими на гигантские гаубицы трубами, она двинулась по кривым улочкам, пока не вышла на широкий проспект, который и искала. По обеим сторонам стояли кирпичные дома, как ломти нарезанной коврижки. Никаких фонарей, грунтовое покрытие: стрела, пустынная и отточенная, как мачете.

Минна здорово дрейфила. Она молилась, чтобы издалека ее можно было принять за мужчину. Широкие брюки, вельветовая куртка, поверх которой она накинула плащ, стянув его поясом. И не забыла про пресловутый берет художника, *à la française...*^[76] В целом могло сойти.

Наконец показался пакгауз, где приютился «Гинекей». Окна были занавешены, никакой вывески у входа. Только фонарь – вроде ночника – подмигивал вам издали. Мысль разместить подобный клуб рядом с доками была поистине гениальной. Никому не пришло бы в голову искать сливки лесбийского сообщества Берлина среди деревянных ящиков и покрытых татуировками портовых грузчиков.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

ЗВЕЗДЫ МИРОВОГО ДЕТЕКТИВА

ЖАН-КРИСТОФ ГРАНЖЕ

ОБЕЩАНИЯ БОГОВ

Новый роман
от автора мирового бестселлера
«Багровые реки»!

ИЗДАТЕЛЬСТВО «АЗБУКА»

Примечания

1

«Торговый дом Запада» (*нем.*) – универсальный магазин в Берлине, открылся в 1907 году, считался крупнейшим в континентальной Европе и входил в пятерку самых крупных универмагов мира. – *Здесь и далее примеч. перев.*

[Вернуться](#)

2

«Рейхсверке Герман Геринг» – гигантская финансово-промышленная корпорация, созданная в 1937 году по инициативе Геринга с целью увеличения производства высококачественной стали.

[Вернуться](#)

3

Букв.: внутри этих стен, т. е. не для чужих ушей (*лат.*).

[Вернуться](#)

4

Ацетатные диски – особая категория пластинок; как правило, они были односторонние и изготовлялись из твердого, хрупкого пластика или металла с тонким виниловым покрытием.

[Вернуться](#)

5

Онейрология – наука о сновидениях.

[Вернуться](#)

6

Институт Геринга – Институт психологической поддержки и психотерапии в Берлине, которым в 1936–1945 годах руководил Маттиас Генрих Геринг, кузен фельдмаршала Германа Геринга.

[Вернуться](#)

7

Берлинская государственная библиотека (*нем.*).

[Вернуться](#)

8

Ночь длинных ножей – расправа Гитлера над руководителями штурмовых отрядов СА 30 июня 1934 года, укрепившая позиции СД, СС и гестапо.

[Вернуться](#)

9

Хрустальная ночь, она же *Ночь разбитых витрин* – массовый еврейский погром в нацистской Германии 9–10 ноября 1938 года, в котором участвовали военизированные отряды СА и граждане.

[Вернуться](#)

10

Жан Люрса (1892–1966) – французский художник, керамист, художник по текстилю, поэт, иллюстратор, реформатор шпалерного искусства.

[Вернуться](#)

11

Вперед (*ит.*).

[Вернуться](#)

12

Имеется в виду Первая мировая война (1914–1918).

[Вернуться](#)

13

Квартал Вильгельм – метафора для располагавшегося в этом районе правительства Германии и силовых служб.

[Вернуться](#)

14

Руны СС – «молнии» СС (двойная зиг-рун).

[Вернуться](#)

15

Здесь: Здравствуй (нем.).

[Вернуться](#)

16

Дирндль – женский национальный костюм немецкоговорящих альпийских регионов. Состоит из блузы с облегающим корсажем, широкой пестрой юбки и яркого фартука.

[Вернуться](#)

17

Очевидно, по аналогии с прозвищем Наполеона Маленький Капрал.

[Вернуться](#)

18

Здесь: Заткнись! (нем.)

[Вернуться](#)

19

«Хуторок», «Сельская изба» (нем.).

[Вернуться](#)

20

Картофельный салат (нем.).

[Вернуться](#)

21

До свидания (нем.).

[Вернуться](#)

22

Венские сосиски (нем.).

[Вернуться](#)

23

Пуантилизм – техника живописи точечными или прямоугольными мазками, одна из ветвей импрессионизма; нужный оптический эффект создается на сетчатке зрителя в отсутствие физического смешения красок.

[Вернуться](#)

24

Кригслокомотив (нем.) – военный паровоз, также известный как «паровоз-солдат» или «паровоз без роскоши».

[Вернуться](#)

25

Пауль Клее (1879–1940) – немецкий и швейцарский художник, график, теоретик искусства, одна из крупнейших фигур европейского авангарда. В 1933 году, с приходом к власти [нацистов](#), против Клее была развернута кампания травли. В печати его называли «типичным галицийским евреем», его квартира в Дессау подверглась обыску, в Дюссельдорфе его отказались допускать до работы, пока он не представит документы о своем арийском происхождении. Он был вынужден отказаться от места профессора,

а в конце 1933 года по настоянию жены покинул страну. В 1937 году 17 его работ фигурировали на пропагандистской выставке нацистов «[Дегенеративное искусство](#)».

[Вернуться](#)

26

«*Messapo*» – серия конструкторов, изобретенных в 1901 году Франком Хорнби. Наборы позволяют собирать модели автомобилей, самолетов, кораблей, зданий и даже действующих роботов.

[Вернуться](#)

27

Зигфрид (он же Сигурд) – один из важнейших персонажей германо-скандинавской мифологии, герой «Песни о Нибелунгах» и тетралогии Вагнера.

[Вернуться](#)

28

Тайная полиция (*нем.*).

[Вернуться](#)

29

Анита Бербер (1899–1928) – известная в 1920-х годах немецкая танцовщица и актриса немого кино.

[Вернуться](#)

30

«Сегодня ночью или никогда...» (нем.)

[Вернуться](#)

31

Миша Сполянский (1898–1985) – композитор и пианист, родившийся в еврейской музыкальной семье в Белостоке; много лет жил в Берлине. Когда Гитлер пришел к власти, Сполянскому, как и всем еврейским артистам в Германии, запретили работать в развлекательном бизнесе, который теперь стал «арийским». Он был вынужден эмигрировать в [Лондон](#), где начал вторую карьеру как кинокомпозитор. Автор шлягера «Heute Nacht oder nie» из поставленного в Германии фильма Анатоля Литвака «Песня одной ночи» (*Das Lied einer Nacht*, 1932), где ее исполнил польский тенор Ян Кепура. В ревю с песнями Сполянского выступала Марлен Дитрих.

[Вернуться](#)

32

Дегенеративное искусство (нем. Entartete Kunst) – термин, которым в нацистской пропаганде обозначалось авангардное искусство, которое выставляли не только модернистским и антиклассическим, но еврейско-большевистским и антигерманским. Выставка «Дегенеративное искусство», где было представлено около 650 произведений, конфискованных в 32 музеях Германии, открылась 19 июля 1937 года в Мюнхене и просуществовала до апреля 1941 года; она объехала еще 12 городов. Выставка была задумана с целью высмеять «оскорбительное» для немецкой нации искусство, якобы демонстрирующее деградацию личности и созданное сплошь коммунистами и евреями. Среди приговоренных работ были картины не только молодых немецких экспрессионистов,

дадаистов, сюрреалистов, но и уже признанных классиков: Винсента Ван Гога, Огюста Ренуара и Поля Гогена, Ловиса Коринта и др.

[Вернуться](#)

33

Уголовная полиция (*нем.*).

[Вернуться](#)

34

Вот дерьмо! (*нем.*)

[Вернуться](#)

35

Вермахт – вооруженные силы гитлеровской Германии, т. е. действующая армия, в отличие от секретных служб.

[Вернуться](#)

36

СА – штурмовые отряды (*нем.* Sturmabteilung), сокращенно СА, штурмовики; также известны как «коричневорубашечники» – военизированные формирования НСДАП.

[Вернуться](#)

37

Korpus delikti (*нем.*), от *лат.* corpus delicti – вещественное доказательство, основные улики, совокупность признаков, характеризующих преступление.

[Вернуться](#)

38

Коричневый дом – здание, находившееся в Мюнхене по адресу Бриеннерштрассе, 45, где в 1930–1945 годах располагалась штаб-квартира НСДАП.

[Вернуться](#)

39

Тайная государственная полиция, гестапо (*нем.*).

[Вернуться](#)

40

Мать (*нем.*).

[Вернуться](#)

41

Аттестат зрелости (*нем.*).

[Вернуться](#)

42

Народ (*нем.*).

[Вернуться](#)

43

На месте (*лат.*).

[Вернуться](#)

44

СС, отряды охраны (*нем.*).

[Вернуться](#)

45

Отец (*нем.*).

[Вернуться](#)

46

Риенци, Лознгрин, Парсифаль – романтические герои опер Вагнера, насаждаемых в Третьем рейхе.

[Вернуться](#)

47

Букв.: снарядный шок (*англ.*).

[Вернуться](#)

48

Сволочь! (*нем.*)

[Вернуться](#)

49

Перечисляются немецкие серийные убийцы. Петер Кюртен (1883–1931), «Дюссельдорфский вампир», в первой трети XX века совершил только доказанных 9 жестоких убийств, признался в совершении 68, был признан виновным в 9 и приговорен к смертной казни. Фриц Хаарман (1879–1925) – «вампир» и «Ганноверский мясник», перегрызал жертвам горло и торговал человеческим мясом и сосисками из него; его жертвами стали 24 (по его признанию) или 27 (по данным полиции) мальчиков или юношей. Карл Денке (1860–1924) убил около 30 человек, продавал мясо своих жертв и изделия из их кожи; считался праведным католиком и очень добрым человеком; покончил с собой сразу после задержания. Эрнст Вагнер (1874–1938) 4 сентября 1913 года убил свою жену и четверых детей. Впоследствии в Мюльхаузен-на-Энце устроил несколько пожаров и ранил 20 человек, из которых скончались минимум девять, прежде чем разъяренные жители деревни избили его и оставили умирать. Он был первым человеком в Вюртемберге, которого признали невиновным по причине невменяемости; позднее в сумасшедшем доме написал несколько пьес и драм и там же умер от туберкулеза.

[Вернуться](#)

50

Дэви Крокетт (1786–1836) – американский первопроходец и авантюрист, «Король Дикого фронта», прославился как удачливый охотник и герой колонизации американского Запада.

[Вернуться](#)

51

Гуммы – опухоли различных органов и тканей, которые образуются при третичном сифилисе.

[Вернуться](#)

52

Господи боже мой! *(нем.)*

[Вернуться](#)

53

Анксиолитики – средства, снимающие тревогу, страх.

[Вернуться](#)

54

Остров Зюльт на Северном море считается курортной жемчужиной Германии.

[Вернуться](#)

55

Здесь: Черт! *(нем.)*

[Вернуться](#)

56

«Стомп жестяной крыши» *(англ.)* – джазовая запись 1930 года американского оркестра и джазового трубача Винги Манона.

[Вернуться](#)

57

Проклятье! (нем.)

[Вернуться](#)

58

Шуцман – работник охранной полиции Третьего рейха.

[Вернуться](#)

59

Арно Брекер (1900–1991) – любимый скульптор Гитлера, стремился возродить академическую скульптуру, включить ее в городское пространство.

[Вернуться](#)

60

Битва на Сомме – крупнейшее сражение Первой мировой войны на реке Сомме, происходившее с 1 июля по 18 ноября 1916 года, одно из самых кровопролитных в истории; потери с обеих сторон были огромны, но англо-французские войска в итоге получили стратегическое преимущество, а потери Германии в ходе этой битвы, а также под Верденом в середине 1916 года сильно подорвали боеспособность и моральный дух немцев.

[Вернуться](#)

61

После смерти (лат.).

[Вернуться](#)

62

Шайенны – индейское племя, коренные жители Великих равнин.

[Вернуться](#)

63

Двор Чудес – в Средние века так назывались парижские кварталы, заселенные попрошайками, бродягами, проститутками, монахами-расстригами и поэтами.

[Вернуться](#)

64

Нюрнбергские законы – расистские (антисемитские, а также антицыганские) законодательные акты, выдвинутые по инициативе Адольфа Гитлера 15 сентября 1935 года на съезде НСДАП в Нюрнберге: Закон о гражданстве рейха и Закон о защите немецкой крови и немецкой чести.

[Вернуться](#)

65

«Мартовские фиалки» – элита немецкого общества, приветствовавшая победу национал-социалистов на выборах 5 марта 1933 года: университетские преподаватели, писатели, журналисты, промышленники и т. д.

[Вернуться](#)

66

Здесь: гомосеки, букв. «теплые братцы» (нем.).

[Вернуться](#)

67

«Народный обозреватель» (нем.).

[Вернуться](#)

68

«Штурмовик» (нем.).

[Вернуться](#)

69

«В этом нет смысла, если нет свинга» (англ.) – композиция Дюка Эллингтона на стихи Ирвинга Миллза (1931).

[Вернуться](#)

70

«Плохие парни» (англ.).

[Вернуться](#)

71

Мой чемодан по-прежнему в Берлине, / Поэтому мне нужно туда вернуться (нем.).

[Вернуться](#)

72

Лушение – поверхностное рыхление, частичное оборачивание почвы и подрезание сорняков.

[Вернуться](#)

73

Sicherheitsdienst, служба безопасности рейхсфюрера СС (нем.).

[Вернуться](#)

74

Берлин-Mitte – центральная историческая часть Берлина.

[Вернуться](#)

75

Гинекей – в Древней Греции женская часть дома. *Сапфический* – от имени греческой поэтессы Сапфо (VII–VI в. до н. э.), жившей на острове Лесбос и открыто писавшей о своей любви к женщинам.

[Вернуться](#)

76

На французский манер (фр.).

[Вернуться](#)